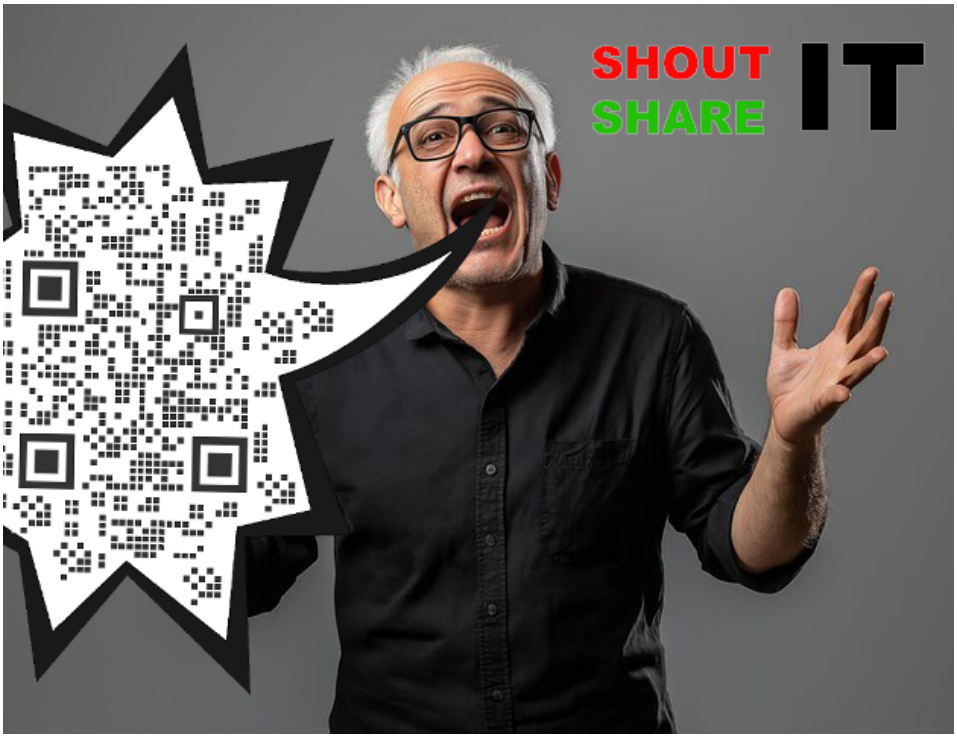
Михаил Шишкин

Пальто с хлястиком

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Прозаик Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, живет в Швейцарии. Автор романов «Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник» и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария». Лауреат премий «Национальный бестселлер», «Русский Букер», «Большая книга».

В новой книге короткой прозы автор пишет о детстве и юности, прозе Владимира Набокова и Роберта Вальзера, советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой… Но главным героем – и в малой прозе это особенно видно – всегда остается Слово.

Содержит нецензурную брань

- Михаил Шишкин
  -
  - Пальто с хлястиком
  - Вильгельм Телль как зеркало русских революций
  - Кампанила Святого Марка
  - Родина ждет вас!
  - Вальзер и Томцак[2]
  - В лодке, нацарапанной на стене
  - Спасенный язык
  - Человек как объяснение света в любви
  - Урок каллиграфии
  - Гул затих…
  - Клякса Набокова
  - Кастрюля и звездопад
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2

Михаил Шишкин
Пальто с хлястиком: короткая проза, эссе

Фото автора на задней сторонке переплета Евгении Фролковой

В книге использованы фотографии из личного архива автора и из Центра Роберта Вальзера в Берне, работы Юрия Транквилицкого, Александра Стернина и приобретенные при содействии фотоагентств “Восток Медиа” и “Getty Images Russia”

Пальто с хлястиком

Есть известная полицейская фотография Роберта Вальзера, сделанная на месте его смерти: зима, белый косогор, следы в глубоком снегу, человек, упавший навзничь, разбросав руки. Стариковская шляпа отскочила в сторону. Таким его нашли дети на рождественской прогулке.

Он описал собственную смерть в рассказе, опубликованном за полвека до своего последнего Рождества. Герой коротенькой истории – неприметный, неприкаянный, никому не нужный, к пущему несчастью в придачу еще и гений, властелин мира. Он устает быть ненужным и уходит от забот так: заваливает мир снегопадом и ложится в сугроб.

Знание собственной смерти все же не привилегия писателя. Просто его легко поймать за руку – в прямом смысле слова – рука записывает то, что ему в какой-то миг открывается. В жизни каждого человека есть такие прорывы. Дырки в материи. Пункты передачи. В такие моменты композитор получает мелодию, поэт – строчки, любящий – любовь, пророк – Бога.

В этот миг встречается то, что в обыденном не пересекается, живет порознь, видимое и невидимое, суетное и сокровенное.

Начинаешь дышать в такт с пространством, в котором все происходит одновременно – и бывшее, и еще не наступившее.

Сущее играло с тобой в прятки, пряталось за прошлым и будущим, как ребенок, который в прихожей втиснулся под шубы на вешалке, а теперь выскочил, потный, счастливый, заливается смехом, мол, вот он я! Как же ты так – ходил мимо и не видел! Теперь тебе водить!

В такую минуту увидеть собственную смерть – пустяк, потому что предстает в своей восхитительной очевидности знание, что я никогда не рождался, а был всегда. Вдруг приходит понимание: не нужно цепляться за жизнь, потому что я и есть жизнь. И это не я чувствую, что у леса прелый запах изо рта, а это вселенная принюхивается к себе моими ноздрями.

Наверно, если чем-то можно измерить прожитую жизнь – то количеством этих отпущенных тебе встреч.

Очень хорошо помню, как я испытал это в первый раз. Мне одиннадцать. Запах горящих под Москвой торфяников. Мглистые дачные утра 72-го. Привкус гари у всего, даже у горячей клубники с грядки. Мама едет в отпуск в дом отдыха на Верхней Волге и берет меня с собой. Одно из моих первых путешествий.

Шли дожди, мы жили в отсыревшем комарином домике, и сначала было скучно, несмотря на то, что каждый вечер крутили

кино, но потом погода наладилась, в столовой у нас за столом появился новый сосед, дядя Витя, и жизнь наша преобразилась. Мы с ним купались, катались по Волге на моторке, ходили в лес. Дядя Витя был жилист, златозуб, без конца смешил маму своими историями. Из его шуток я половину не понимал, но рассказывал он так, что не смеяться было невозможно. Мамин новый знакомый мне очень нравился. Еще меня сразило, что он работал в тонвагене. Наверно, уже тогда меня завораживали слова.

Ну вот, без спроса называю того подростка мной, хотя совсем не уверен, что он согласился бы признать себя во мне нынешнем, седом, прожившем жизнь болезненном зануде с выпершим бесстыжим брюхом. Он очень удивился бы: какой же это я? Не знаю, нашелся бы я, что ему ответить. Вряд ли. Меня зовут как его – ну и что?

Из историй дяди Вити почему-то запомнилось, как в детстве, катаясь на коньках по реке, он с мальчишками иногда находил вмерзших в лед лягушек. Если на них пописать, они оживали и начинали шевелиться. А еще про войну. Он рассказывал про штрафников, которых могло спасти только ранение. Смыл свою вину кровью – возвращают награды и звание. И вот они устраивали самострелы – в руку или ногу через буханку хлеба, чтобы не оставался пороховой нагар.

Мне в голову не приходило, что мама любила танцевать, а теперь она каждый вечер ходила с дядей Витей на танцы.

Однажды мама заговорила со мной каким-то непривычным голосом. Она попросила, если дядя Витя спросит меня о папе, ответить, что он умер.

Я удивился:

– Но ведь он не умер. Он просто переехал.

Она прижала мою голову к груди:

– Но ты же у меня умница и все понимаешь.

Я ничего не понимал, но кивнул.

И стал ждать, когда дядя Витя спросит меня о папе.

Странно было смотреть, как мама румянилась, пудрилась, подводила глаза, красила губы, прыскала себе на шею духами, делала маникюр – в нос бил острый запах лака. Я такой ее не знал раньше.

Мама была учительницей, преподавала русский и литературу, к тому времени она стала уже директором нашей 59-й на Арбате. Я ездил вместе с ней с первого класса через весь город – сперва с Пресни, где мы жили в коммуналке, потом из Матвеевской, где получили двухкомнатную в новостройке.

Понятно, она хотела, чтобы ребенок был под боком, в ее школе, но мне это сильно осложняло жизнь. Ее идеалом был

какой-то учитель, преподававший математику и уже ушедший на пенсию. У того в классе учился сын, знавший этот предмет лучше всех, но когда отец вызывал его к доске, то даже на правильное решение задачи всегда говорил: “Садись, три”. Что-то подобное мне, например, пришлось испытать, когда наш класс делили, кому изучать английский, а кому немецкий. Я хотел пойти в английскую группу – и имел на это все основания, потому что немецким как бы наказывали тех, кто плохо учится: мол, будешь плохо учиться, пойдешь в немецкую группу. Я учился хорошо, но мама записала меня именно туда, куда я не хотел. Чтобы никто из родителей ее не смог ни в чем упрекнуть. На первом месте у нее была школа, а все личное, семейное – на втором.

Ее поколение выросло под плакатом “Родина-мать зовет!”

Может, она и в Афганистан меня отправила бы не только с болью, но и чувством исполненного долга матери перед отечеством, если бы я не поступил после школы в институт с военной кафедрой. Не знаю. Кстати, очевидно, я до сих пор офицер запаса той несуществующей армии несуществующей страны. Принес ведь когда-то в военных лагерях под Ковровом клятву защищать до последней капли крови разбежавшуюся вскоре отчизну. Помню, нужно было поцеловать красное знамя, поднес к губам, а оно на меня пахнуло копченой рыбой. Наверно, наши начальники пили пиво с рыбкой и вытирали о бархатное полотно руки.

Тогда, в школе, я, конечно, не осознавал, как тяжело было маме и всем нашим учителям: перед ними стояла задача без решения – учить говорить детей правду, вводя их в мир лжи. По писаному закону нужно говорить правду, а по неписаному: скажешь правду, потом не расхлебаешь.

Они нас учили лжи, в которую сами не верили, потому что любили и хотели спасти. Конечно, они боялись неправильно сказанных слов, но еще больше, чем за себя, они боялись за нас. Ведь в стране шла смертельная игра в слова. Нужно говорить правильные и не говорить неправильные. Границу никто не проводил, но каждый в себе этот рубеж чувствовал. Учителя пытались спасти правдолюбивых юношей от глупости, сделать им живительную прививку страха. Пусть сейчас будет немножко больно, но зато потом иммунитет на всю жизнь.

Может, нас плохо учили химии или языкам, но зато мы получали показательные уроки в искусстве выживания – говорить одно, а думать и делать другое.

Боги взрослых давно умерли, но на школьных камланиях нужно было поклоняться им. Школа учила детей рабов смирению. Если хочешь чего-то добиться, нужно научиться произносить

мертвые слова на мертвом языке, в котором застаивалась и гнила та мертвая жизнь.

Вообще, что значит быть хорошим учителем?

Очевидно, что хороший учитель при любом режиме должен развивать в детях качества, которые помогут им дальше в жизни, и не будет учить детей идти против течения, потому что им пригодятся совсем другие знания: знания дорожного движения по этой конкретной жизни. Выехал на встречную полосу – попадешь в аварию. Надо развернуться и влиться в общий поток. Хочешь чего-то достичь в этой жизни, зарабатывать прилично, обеспечивать семью, детей – надо влиться в общий поток: ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак, трудом праведным не построишь палат каменных, с волками жить – по-волчьи выть.

А плохой учитель будет учить жить по другому закону, закону сохранения человеческого достоинства. И это чаще всего путь в лучшем случае в маргиналы, в худшем – к тюрьме или самоубийству. А то и просто пристрелят.

Значит, плохие учителя были хорошими, а хорошие – плохими? Впрочем, в России всегда так: правые – слева, левые – справа. Сколько веков выясняли, так и не выяснили: если любишь Родину, то нужно желать ей победы или поражения? Осталось до конца непроясненным, где кончается Отчизна, и где начинается режим, – так все срослось.

Взять хотя бы тот же хоккей. По обе стороны колючей проволоки матчи СССР – Канада воспринимались как символическая битва двух систем. К концу советской власти мы болели за канадцев против советов. А в 72-м, когда состоялась эпохальная суперсерия, тот подросток, которого я упорно называю мной, еще жил в светлом мире до грехопадения и болел “за наших”.

Это была все-таки странная держава. Хоккейные победы продлевали жизнь режиму, а поражения сокращали. Вблизи было не рассмотреть, что тот самый гол Пола Хендерсона, забитый с пятачка за 34 секунды до конца последнего матча, перевернул не только исход той серии, но стал *point of no return* для всей мировой империи, созданной усатым богдыханом. Ее разложение оставалось с той минуты только делом времени.

Забавно, что человек, поразивший мою страну в самое сердце, принял свою судьбу как-то совсем по-русски: сперва запил, бросив хоккей, а потом стал проповедником.

Хоккей попал на эти страницы, потому что наша школа находилась как раз напротив Канадского посольства. Перед ним парковались нездешние, невероятные лимузины, завернувшие в наш Староконюшенный переулок прямо из американских

фильмов. Можно было прильнуть к стеклу и разглядывать доску приборов, особенно впечатляла цифра 220 на спидометре, и мы, мальчики в мышиных серых костюмчиках, с жаром спорили о преимуществах “мустанга” перед “кадиллаком” или “шевроле” перед “фордом”, пока из будки у дверей посольства не выскакивал милиционер, чтобы шугануть нас.

Для канадских хоккеистов в посольстве был устроен прием. Весть о том, что к нам приехали канадцы, разлетелась мгновенно, и мы толпились на противоположном тротуаре, пытаясь разглядеть кумиров. Это были наши боги, сошедшие с ледовой площадки телевизора, и было странно видеть их в пиджаках и галстуках. В окнах второго этажа арбатского особняка, распахнутых в теплый сентябрь 72-го года, мелькали Фил Эспозито и “Задира” Кэшман, братья Фрэнк и Пит Маховличи. На наши восторженные вопли они выглядывали из окон, улыбались, махали, показывали большие пальцы кверху, мол, жизнь – классная штука, ребята!

Столько лет прошло, а как сейчас вижу беззубую улыбку Бобби Кларка, который высунулся в окно и бросил нам значок. Другие хоккеисты тоже стали бросать значки и пластинки жвачки. Даже какие-то печенья. Что тут началось! Как я ни пытался поймать хоть что-нибудь, меня отпихивали более удачливые. Так бы и остался ни с чем. Но тут произошло чудо. Бобби Кларк, почти лежа на подоконнике, стал тыкать в мою сторону пальцем. Я не верил своим глазам. Он смотрел именно на меня и кинул жвачку именно мне. Я поймал ее! Он рассмеялся и снова показал мне большой палец – молодец! Тут нас разогнала милиция. Жвачку мы поделили с друзьями, а обертку от нее я долго хранил. Нужно ли говорить, что это была самая вкусная жвачка, которую я когда-либо пробовал в жизни?

На следующий день к нам в класс пришла мама. У нее было строгое лицо. Мама умела быть строгой, и тогда ее боялась вся школа.

Она стала говорить, что наше поведение – это стыд и позор и для школы, и для всей страны. Нас фотографировали иностранные корреспонденты, и теперь весь мир увидит, как мы унижались, устроили драку из-за их жвачки.

Все молчали. Я чувствовал в этих обвинениях несправедливость. И вдруг неожиданно для самого себя заявил:

– А почему в нашей стране нет жвачки?

Мама ответила:

– В нашей стране много чего нет. Но это не значит, что нужно терять человеческое достоинство.

Я это запомнил.

Мама как директор была в школе представителем той тюремной системы, и ей приходилось трудно. Знаю, что она многих спасала, прикрывала. Старалась делать возможное: кесарю – кесарево, а детям – Пушкина. Пушкин на несколько поколений стал тайным кодом, ключом к сохранению человеческого в замордованной стране. Тогда уже многим казалось, что чем хуже, тем лучше, тем скорее все наконец развалится; но такие как она старались придать бесчеловечной жизни человечность. Самой ей спастись не удалось – получила свое по полной.

В мои семнадцать лет наши отношения дошли до того, что я перестал с ней разговаривать. Вообще. Жили в одной квартире, но я с ней даже не здоровался. Не мог простить ей, что она в партии, что в школе нам задавали писать сочинения по “Целине” и “Малой земле”. Мне казалось, что борьбу с ненавистной системой нужно вести бескомпромиссно и начинать с себя, с семьи, с самых близких. Мне хотелось жить не по лжи, но я не понимал тогда, что я не герой, а сопляк. Думаю, то мое молчание тоже сократило ей жизнь.

Вот написал, что перестал тогда с мамой разговаривать, и сразу почувствовал, что написал не всю правду, поэтому получилась ложь.

Действительно, я с ней даже не здоровался, но не только потому, что прочитал “Колымские рассказы” и “Архипелаг”, которые неисповедимыми путями попали тогда мне в руки и многое изменили в юношеской картине мира. Нет, конечно. Конфликт возник из-за моей первой любви. Маме не нравилась та девушка. Совсем не нравилась.

В школе она была всесильным директором, одним взглядом могла привести в оцепенение разбушевавшийся у неопытного учителя класс, но дома, в отношениях с собственным сыном оказалась совершенно беспомощной. Разумеется, мать хотела сыну добра. Но не умела. И разумеется, мама была по поводу той девушки совершенно права. Но это я понял позже.

Катастрофа у мамы в школе случилась, когда к власти пришел Андропов. Никто не знал, что он уже смертельно болен. Все снова испугались своего страха.

Старшеклассники хотели провести вечер памяти Высоцкого. Коллеги маму отговаривали, но она разрешила. Вечер состоялся. Ребята пели его песни, читали стихи, слушали записи. На директора написали донос.

Школе устроили показательную порку, чтобы другим было неповадно.

Я уже жил тогда отдельно. Помню, как приехал домой, и

мама рассказывала, как ее вызывали, как по-хамски разговаривали, как орали на нее. Она пыталась защищаться, объяснить что-то. Никто не собирался ее слушать.

Она хотела прожить свою жизнь, не теряя человеческого достоинства. За это ее просто растоптали.

Мама расплакалась, кажется, впервые при мне. Я не знал, что сказать, сидел рядом и гладил ее по плечу.

Вдруг захотелось попросить у нее прощения, что я тогда с ней почти год не разговаривал, но так и не попросил.

Маму выгнали с работы. Перенести этот удар она так и не смогла. Школа была всей ее жизнью.

Она тяжело заболела. Сначала сердце. Потом обнаружили рак. Начались больницы, операции.

Я уже сам к этому времени работал в школе, в 444-й на Первомайской, после уроков приезжал к ней, часами сидел в больничной палате, проверяя тетрадки и подавая маме то попить, то судно, читал ей из газет, стриг ногти, просто был рядом. Если говорили о чем-то, то о каких-то пустяках. Вернее, о том, что казалось тогда важным, а теперь, через столько лет, кажется неважным. Я все хотел попросить у нее прощения, но как-то не получалось.

Потом я описал это во “Взятии Измаила”: ее соседку в больнице, лысую от химиотерапии и не снимавшую беретку, отчего она была похожа на художника с карикатур; как разлетались по палате обрезки ее ногтей, отросшие на скрюченных пальцах ног, когда я неуклюже пытался их постричь; как я принес ей доски на кровать, потому что мама не могла заснуть на больничной продавленной сетке.

Роман, написанный через несколько лет после маминой смерти, начинался в русской литературе, в нем было много цитат, связей, переплетений, а к концу я просто описывал то, что было в моей жизни. От сложного к простому. От книжного, начитанного – к маминому лифчику, набитому поролоном, который она надевала после того, как ей отрезали грудь. От старославянских центонов – к ее тихой смерти, которую она так ждала, чтобы отпустили боли.

На ее похоронах было очень много людей, собрались учителя, с которыми она вместе работала, бывшие ученики. У нее за долгие годы набралось много учеников. По-настоящему чему-то главному научить можно только своей жизнью.

Меня поразило, что в гробу она лежала с православным венчиком на лбу. Не знаю, откуда он взялся, мама была совсем не церковным человеком. В Бога мама не верила совершенно искренне. Она так выросла. И меня, когда родился, не хотела

крестить. И не потому, что боялась неприятностей, – она была в начале 61-го, когда Сталин еще покоился в Мавзолее, школьным парторгом. Просто искренне не понимала – зачем? Бабушка тайком крестила меня в церкви в Удельной, где мы летом жили на даче.

Да и мне в детстве было ясно, что в церковь ходят только необразованные бабушки вроде моей, с тремя классами приходской школы.

А потом думал, будто старики ходят в церковь, потому что они больше, чем молодые, боятся смерти. И не знал тогда еще, что, наоборот, молодые больше боятся смерти.

Только после того, как мамы не стало, я остро почувствовал, как необходимо, чтобы между близкими людьми состоялся один самый важный разговор. Обычно такой разговор откладывают, потому что не так просто за завтраком или где-нибудь в метро заговорить о самом главном. Всегда что-то мешает. Мне нужно было попросить у мамы прощения, а я так и за все эти годы и не успел. Когда начал “Взятие Измаила”, мне казалось, что это роман об истории, о стране, о судьбе, о слове, а оказалось, что это тот самый разговор.

При жизни такой разговор, наверно, и не может состояться. Важно, чтобы он произошел, а до или после – какая разница? Главное, что она услышала меня и простила.

Между операциями, когда проводила какое-то время не в больницах, а дома, мама разбирала накопившиеся за жизнь фотографии. Попросила купить альбомы и вклеивала в них карточки, каждую подписывала, кто на ней изображен, и иногда записывала на широких полях связанные с этими людьми истории. Получился семейный архив – для внуков.

После ее смерти я перевез альбомы к себе. А когда уезжал в Швейцарию, оставил все это у брата. Альбомы хранились у него в подмосковном доме.

Дом подожгли. Все наши фотографии сгорели.

У меня осталось только несколько детских карточек.

На одной из них я снят, наверно, отцом, еще на Пресне, но в тот же год мы переехали в Матвеевскую. Я в четвертом классе. На мне пальто с невидимым для объектива хлястиком. Очень хорошо помню то пальто, которое донашивал за братом. Мне все приходилось за ним донашивать. А пальто запомнилось вот почему. Мама часто рассказывала эту историю. Она очень короткая.

Из Матвеевской мы ездили в школу на 77-м автобусе до Дорогомиловской, а там пересаживались на троллейбус до Арбата, или можно было доехать на том же автобусе в другую

сторону до железнодорожной станции и оттуда до Киевского вокзала. В то утро мы поехали на станцию. Ночью выпал первый снег. Тысячи ног утоптали платформу в ледяной каток. Когда подошла электричка, все ринулись к дверям. Вагоны, и так переполненные, нужно было штурмовать, втискиваться в битком набитые тамбуры. Между краем платформы и дверью была огромная щель, в которую я, поскользнувшись, и устремился. Мама, к счастью, удержала меня за хлястик.

Вот, собственно, и вся история, ничего особенного. Но для мамы этот случай был так важен, что она вспоминала его и незадолго перед смертью. Улыбалась и шептала чуть слышно – голос тогда она уже потеряла, могла только шептать:

– Тяну за хлястик и одна мысль в голове – вдруг сейчас оборвется?

И “Венерин волос”, написанный в Цюрихе и Риме, начинался на самом деле с мамы, вернее, с ее дневника, который она мне дала перед своей последней операцией. Толстая тетрадь в клеенчатом переплете. Пожелтевшие страницы, исписанные карандашом, причем не тем “медицинским” почерком, который я знал, а каким-то уютным, девичьим. Мама начала записи в выпускном классе школы и вела несколько лет, когда уже была студенткой. Конец сороковых – самое начало пятидесятых.

Помню, что она мне рассказывала про гонения на “космополитов” у них в институте, когда исчезали самые хорошие профессора. Но в той тетрадке ничего этого нет. Самый обыкновенный дневник девушки: хочется кого-то любить, тревожные прислушивания к своему сердцу, пришло ли уже то самое чувство, настоящее ли? И очень много счастья. От прочитанных книг, от подруг, от солнца за окном, от дождя. Страницы, из которых перехлестывает бездумная юная уверенность в том, что жизнь даст больше, чем просишь.

Никаких следов страха, сковавшего страну. Будто не было никаких доносов, лагерей, арестов, очередей, нищеты.

Читал тогда и поражался наивности той слепой, не видевшей, куда она попала, девочки.

Эта девочка родилась в стране-тюрьме, во мраке, а все равно воспринимала свою жизнь как дар, как возможность осуществиться в любви, дать любовь, поделиться с миром своим счастьем.

Когда я узнал, что в подмосковном пожаре погиб и мамин дневник, почувствовал, что он меня не отпускает. И в какой-то момент пришло понимание: нет, это была не наивность и глупость юной дурочки, не осознававшей, что творится вокруг, это была мудрость того, кто посылал, посылает и будет всегда

посылать девочек в этот мир, в какой бы ад мы его ни превратили.

Мир кругом холоден и темен, но в него послана девочка, чтобы своей потребностью в любви освещать, как свеча, окружающую человечью тьму.

Мама очень любила петь, но знала, что голоса у нее нет, и стеснялась. Пела, когда оставалась одна. Пела чаще всего то, что слушала в детстве. Одна из ее любимых певиц была Изабелла Юрьева. У отца были старые пластинки с ее романсами, и он часто заводил их, когда мы еще жили вместе в подвале в Староконюшенном и на Пресне.

Я тогда был уверен, что все эти голоса со старых пластинок – давно умерших людей. Для меня тогда был что Сталин, что Иван Грозный – далекое прошлое. Потом вдруг выяснилось, что Изабелла Юрьева жива, снова стали выпускать пластинки, показывать ее по телевизору. При желании можно было даже попасть на встречу с ней в Доме актера. Я так никогда с ней живой и не встретился.

Когда певица умерла, поразило, что она прожила 100 лет, родилась в 1899-м и умерла в 2000-м – весь чудовищный проклятый русский XX век.

Я хотел написать книгу о том, что почувствовал и понял благодаря маминому дневнику. Я стал писать о Белле. Получился роман “Венерин волос”.

От жизни певицы мало что осталось – ни дневников, ни мемуаров, известна только общая жизненная канва. В те годы люди боялись своего прошлого – неизвестно было, что из прожитого может оказаться в будущем смертельно опасным. Опасным могло оказаться все: прошедшие встречи, слова, письма. Прошлое уничтожали, старались избавиться от него.

Мне хотелось вернуть ей уничтоженную жизнь. Я стал писать ее воспоминания и дневники.

Мне важно было, по возможности, ничего не выдумывать. Например, взять из мемуаров людей, живших в том дореволюционном Ростове, непридуманное и вернуть моей Белле ее реальных учителей в гимназии Билинской на Таганрогском проспекте в доме Хахладжева, приказчика в писчебумажном магазине Иосифа Покорного на Садовой, где она покупала тетрадки и перья, того гимназического швейцара, который, прочитав “Холстомера”, завещал свой скелет в анатомический кабинет.

Я по деталям возвращал ей прожитое, исчезнувшее.

Она ничего никогда не делала, кроме того, что пела, – как та стрекоза из басни. Только в реальной жизни для муравьев,

строивших вавилонскую кучу до небес и превращавшихся в лагерную пыль, ее пение было не менее важным для выживания, чем запасы на зиму. Она была той самой свечкой, что хоть немного освещала их мрак. Она пела рабам о любви. Она помогала им сохранять человеческое достоинство.

Мне очень хотелось вернуть ей жизнь, хотя бы в книге – а другого способа и не существует.

Многое в жизни Изабеллы Юрьевой было, конечно, не так, как у моей Беллы.

Но знаю, когда мы с ней наконец встретимся, Изабелла Даниловна простит меня и скажет:

– Не переживай! Все хорошо. Спасибо тебе!

И вот теперь я возвращаюсь в дом отдыха на Волге, где в лесу полно земляники и все еще живы.

Вижу те картинки:

Кирпичная дорожка в столовую, выложенная елочкой.

Загаженный ближний лес, везде бумажки, бутылки, промасленные газеты.

Волга под ливнем, белая от пузырчатой пены, будто стирка.

Мы собирали грибы в дальнем лесу и возвращаемся проселком, а глаза все не могут остановиться – рыщут по обочине.

А вот мы с мамой ходили с утра на Волгу купаться, возвращаемся к нашему домику. Идем босиком по мокрому мху, и между пальцами проступает роса. Поднимаемся на ступеньки крыльца, уже нагревшиеся на солнце, и мама обращает мое внимание на наши быстро исчезающие следы:

– Видишь, у меня плоскостопие!

Наша комната в жаркий день: грибная сырость, шторы заколоты булавкой, обои заворачиваются, вспучиваются, мама закрывает скрипучую дверцу шкафчика, сунув в щель кусочек картона, чтобы не раскрывалась.

А теперь вижу пивную в ближайшем городке, в которую дядя Витя заскочил на минутку, и вот мы с мамой стоим на жаре уже полчаса, а он все не выходит.

Я все ждал, когда дядя Витя спросит меня о папе, но он до самого последнего дня так и не спросил.

В последнюю ночь перед отъездом я проснулся от мысли, что мама когда-нибудь умрет. Лежал в темноте, слушал, как она сопит во сне и, всхрапнув, просыпается, потом долго ворочается и снова принимается сопеть. Помню это острое чувство жалости, которое не давало мне уснуть. Получалось как-то странно – она лежала на соседней кровати совершенно живая и в то же время она уже будто умерла. Еще очень хотелось в уборную. Туалетов в

домиках не было. Днем приходилось бегать в малоприятное заведение, смердящее хлоркой, но ночью я просто устраивался где-нибудь недалеко от крыльца.

Я тихо встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Сырость, туман, ночной холод. Вот-вот будет светать.

Я остановился у ближайшего куста. От струи шел пар.

И вдруг со мной что-то произошло. Будто я попал из ненастоящего в настоящее. Будто все чувства, как объектив, навели на резкость. Будто у всего мира кругом оказалась моя кожа, продрогшая от августовского утренника.

Оглядывался и не понимал, что происходит, ведь проходил здесь столько раз – и не замечал, а теперь увидел, будто впервые, и этот куст жимолости, и рябину, и полотенце, забытое на протянутой веревке.

Из тумана в тишине доносились звуки: далекий гул моторки с реки, лай собак из деревни на том берегу, тревожный крик ночной птицы, гудок поезда со станции, от шоссейки долетал чей-то хриплый мат и девичий пьяный хохот.

Еще я услышал свое дыхание, как мои легкие захватывали жизнь.

Вдруг ощутил себя не у куста посреди тумана, а посреди мироздания. Да я и был мирозданием. В первый раз я тогда испытал это удивительное чувство. И это было не только предвосхищение всей будущей жизни. Тогда впервые все замкнулось, стало единым целым. Дымок от невидимого костра и мокрое шуршание в траве у меня под ногами. Не умерший папа и ничего не спросивший дядя Витя. Что было и что будет.

Все еще не названо, внесловесно, потому что таких слов не бывает.

И Волга где-то тут, в тумане течет, плещется, но ни в какое Каспийское море не впадает.

И мама умерла и живет одновременно. Лежит в гробу с православным бумажным венчиком на лбу и сопит во сне в том доме отдыха.

И все сливается в единое целое: и пальто с хлястиком, и беззубая улыбка Бобби Кларка, и сугроб Роберта Вальзера, и тот раздолбанный 77-й, который когда-то не дотянул до Дорогомиловской, и пришлось топать по лужам. И я, печатающий сейчас на моем ноутбуке эти слова. И тот или та я, кто читает сейчас эту строчку.

И единственная возможность умереть – это задохнуться от счастья.

2010

Вильгельм Телль как зеркало русских революций
Опыт сравнительной монументологии

В Швейцарии бросаются в глаза дырки в пейзаже, заполняемые в России памятниками. В русской деревне может не быть водопровода, телефона и других признаков цивилизации, но обязательно будет обелиск тем, кто ушел на войну и не вернулся. Перст, указующий русскому прохожему его путь на небо. Дорожный знак, напоминающий тебе о твоем предназначении: к журавлиному бессмертию. Здесь этого нет.

Главной швейцарской святыней является луг, на котором некогда была принесена клятва верности отцами-основателями первого союза кантонов. И трава, и коровы настоящие. Комментарий Василия Жуковского, подплывшего на лодке к лугу Рютли, “покрытой зеленом дерном площадке”: “На ней нет памятника; но свобода Швейцарии еще существует”. В стране идей луг был бы принесен в жертву памятнику лугу.

Бог вкладывает в плоть душу, человек в камень – идею. Как люди, памятники бывают живые и мертвые. Как смерть человека не означает прекращения существования ни для души, ни для тела, так памятник может оставаться живым и через сотни лет после своего физического уничтожения, а может уже появиться на свет мертворожденным. Так идея Вавилонской башни живет и через тысячи лет после ее физического разрушения. Так снежная жена Франциска Ассизского, давным-давно растаяв, и сейчас является сгустком любви к Творцу.

Признак жизни памятника – не столько поклонение ему (поклонение – мертвый ритуал), но скорее борьба с ним, начиная от хулиганского пачкания или террористических попыток его взорвать и кончая сносом – с восстановлением в том или ином виде следующими поколениями.

В России, где идеи, похоже, не умирают, но, как призраки, неистребимы в старом доме и являются каждому новому поколению, пугая обывателей, памятники бессмертны и без конца вмешиваются в жизнь смертных. По количеству снесенных монументов Россия лидирует в мире. Только на жизни последних поколений там прокатилось столько волн их уничтожения, что хватило бы иной стране на много веков исторического развития. Ускорение круговорота идей в России обещает скорое

возвращение железных и каменных людей на свои постаменты. Они живее живых.

Памятник есть всегда в практическом быту нечто бесполезное, ненужное, пустая трата материала и труда. Роль идей в жизни нации отражается в размерах памятников. Чем величавее пирамиды и каналы, тем ничтожнее их строитель.

“Место, где жил Вильгельм Телль, – читаем дальше у Жуковского, – означено часовнею. Этот обычай, строить вместо великолепных памятников скромные алтари благодарности Богу на местах славы отечественной, трогает и возвышает душу… На вершине Риги стоит простой деревянный крест, и маленькая часовня Телля таится между огромными утесами: но они не исчезают посреди этих громад, ибо говорят не о бедном могуществе человека, здесь столь ничтожном, но о величии души человеческой, о вере, которая возносит ее туда, куда не могут достигнуть горы своими вершинами”.

Памятник, ставший символом страны, – Храм Христа Спасителя. История его жизни, смерти и воскрешения – песня о главном. Притча о жертве. Непостроенный монумент, по сравнению с которым Вавилонская башня – кулич в песочнице, приносят в жертву бассейну, быту, удобствам частной жизни, приоритетам индивидуума. А затем – сакральное умерщвление бассейна как идеи важности маленьких радостей отдельной личности и воскрешение Храма как восстание из гроба идеи могущества империи.

Для опыта сравнительной монументологии забавно проследить судьбу памятника, соединившего в себе и Россию, и Швейцарию. Этот своеобразный каменный сиамский близнец – 12-метровый крест, вырубленный в скале у Чертова моста. История его такова. Идея увековечить к столетнему юбилею память соотечественников, защищавших высшие интересы отечества в Альпах, принадлежала князю Сергею Михайловичу Голицыну. В октябре 1892 года он обратился в министерство иностранных дел с предложением установить на свои средства памятный крест Суворову в ущелье Чертова моста. Запрос был направлен швейцарскому правительству. Официальный Берн ответил отказом. Негоже свободолюбивым гельветам устанавливать на своей земле памятники чужим полководцам.

Однако жители общины Урзерн, наоборот, заинтересованы в русском монументе на своей территории в надежде, что такая достопримечательность привлечет в их бедные края богатых туристов. Выход находится: раз идея, мешающая реальной жизни, выражена в формулировке, то нужно изменить формулировку. С

русской стороны поступает новое прошение, но теперь речь идет об увековечении памяти павших русских солдат. На такую формулировку Федеральный совет дает свое согласие. Община Урзерн объявляет о безвозмездной уступке России участка земли для памятника. С тех пор этот кусок скалы в Альпах является, как это ни странно звучит, суверенной территорией России.

Памятник Суворову у Чертова моста торжественно открывается в сентябре 1898 года. На открытии присутствуют военные делегации России и Швейцарии. После панихиды по павшим, отслуженной у памятника, от имени Голицына в Андерматте дается торжественный банкет. Русский посланник в Берне сообщает в Петербург об этом событии и приводит речь представителя швейцарской армии: “Мы счастливы, что этот крест над могилою русских воинов, столь драгоценной для всякого солдата, воздвигнут теперь среди укреплений Готарда, предназначенных для того, чтобы обеспечить нашу независимость. Русские могут быть уверены, что мы свято будем охранять этот крест и никто не нарушит его святыни…”. Олдерман, представитель общины Урзерн, в своем выступлении выразил надежду, что строительство памятника привлечет на благо общине русских туристов.

Увы, надежда швейцарцев использовать царского генерала в качестве туристической рекламы не оправдалась. Жители глухой альпийской деревни ввязались в русскую войну памятников и поставили не на ту лошадку. В катившейся к революции России непобедимый генералиссимус вызывал какие угодно чувства, только не восторг. Вот пример типичного для того времени отношения к памятнику, который находим в воспоминаниях Германа Сандомирского, студента, вместе с товарищами пешком путешествовавшего в начале прошлого века из Женевы в Цюрих: “Я забыл еще упомянуть о том, что мы проходили мимо знаменитого «Чортова моста», запечатлевшего баснословную жестокость русского полководца Суворова, положившего здесь много тысяч солдат, которых он заставлял в полном вооружении взбираться по отвесным скалам. Говорят, что тысячами солдатских трупов заполнялись пропасти между этими скалами и по ним проходили оставшиеся в живых. Здесь кем-то поставлен памятник погибшим жертвам. Этот памятник служит символом гнуснейшего самодержавного режима”.

Подобное отношение после революции новой власти в России к прошлому напрямую отразилось на состоянии швейцарского памятника: суворовский крест с годами пришел в запустение и стал потихоньку разваливаться. Но и памятник-эмигрант испытал на себе судьбу своих отечественных каменных и железных

собратьев: за смертью приходит возрождение. С превращением революционной России в советскую империю менялось и отношение к Суворову. С началом войны всячески возрождается культ царского генерала. Последовал вал книг, фильмов, орденов, памятников, посвященных Суворову, а после войны вспомнили и о суворовском кресте в далеких Альпах. Революционное отречение от имперского прошлого сменилось благоговейным почитанием, и Советский Союз выделил средства на ремонт, которым занималось советское посольстве в Берне.

После перестройки события в России пошли в убыстренном темпе – ускорилась и неспешная жизнь памятников. Так получилось, что возрождение имперского духа на советских развалинах совпало с 200-летней годовщиной суворовского похода. История вековой давности повторилась буквально: круговорот русских идей совершил свой оборот точно к юбилею. Столетия срифмовались: снова в сентябре был открыт памятник Суворову, но на этот раз уже на перевале Сен-Готард.

На этот раз швейцарцы были более покладистыми, несмотря на, то что памятник представляет собой конную статую иноземца-военачальника, попирающего землю свободолюбивых гельветов. Более того, и деньги на памятник царскому генералу дали альпийские жители, что можно объяснить лишь знаком благодарности швейцарских банков за те миллиарды, которые им принесли за последние годы частные клиенты из России. Русский монумент на перевале оказался побочным продуктом большой стиральной машины по отмывке денег.

Сам памятник, исполненный скульптором Тугариновым, вызвал у официальной делегации из Москвы неудовольствие, но кто же будет портить себе поездку в Швейцарию за казенный счет из-за такого пустяка, как трактовка образа Суворова? А образ и создает интригу: полководец изображен не суперменом, но юродивым. Скульпторы обычно направляют взгляд героя на завоеванную, вернее, на освобожденную землю, рука, как правило, поднята в угрожающем или указующем на врага жесте. Здесь все не так. На полуживой кляче примостилась курицей сумасшедшая старуха, в которой трудно узнать привычный молодецкий образ народного любимца-генералиссимуса. Глаза устремлены в небо, а рука осеняет крестным знамением. Альпийский крестьянин-проводник с сожалением и сочувствием смотрит на уставшую изможденную лошадь. Вольно или невольно скульптор создал метафору двух мироощущений: русская мессианская идея, оседлав народ, гонит его Бог знает куда, а швейцарский пастух, не глядя в небо, пытается найти надежную тропинку среди скал и пропастей.

Два наиболее известных швейцарских памятника – люцернский Лев и Вильгельм Телль в Альтдорфе.

Идея увековечить память швейцарских гвардейцев, погибших при штурме Тюильри в 1792 году, вот уже два столетия навевает на русских путешественников задумчивость. Так, например, уже вскоре после открытия монумента, писатель и журналист Александр Тургенев смущен сутью совершенного героическими швейцарцами поступка: “Мне всё что-то больно, когда думаю, что этот памятник воздвигнут швейцарам и, конечно, за прекрасный подвиг, но этот подвиг внушен не патриотизмом, а только солдатским *point d’honneur*[1] и швейцарскою верностью. Они умерли за чужого короля, защищая не свою землю, не свое правительство, – не за свое дело – а в чужом пиру похмелье”. А Салтыков-Щедрин более чем через полвека так интерпретирует латинскую надпись на памятнике “*Helvetiorum virtuti ac fidei*” (“Доблести и верности швейцарцев”) – “Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату, французское престол-отечество”.

Понятия чести как верности заключенной конвенции, исполнения подписанного договора, добровольное подчинение урегулированному порядку и, как следствие, героическая гибель “за поденную плату” – трудно все это переварить русскому рассудку. После того, как Наполеон практически оккупировал альпийскую республику, Швейцария вынуждена была поставить войска для завоевания России. “Служба в наполеоновской армии, которую несли молодые швейцарцы в соответствии с договором, была им ненавистна”, – комментирует швейцарский учебник истории. Но как это соотносится с тем, что написано в следующем абзаце той же истории о походе Великой армии? “В ее рядах отправились в Россию 10 000 швейцарских солдат. Они отличались в походе своим наступательным духом и большой выдержкой. Когда кампания завершилась неудачей, «красные швейцарцы» мужественно прикрывали переправу остатков наполеоновской армии через Березину. Из 10 000 швейцарцев на родину из России вернулись только 700 человек, израненных и изможденных”.

Если ты вынужден служить в армии, да еще “ненавистной”, то почему ты обязательно должен быть героем, проявлять “наступательный дух” и жертвовать собой за иностранного завоевателя? Благодаря швейцарским солдатам, самоотверженно сражавшимся против русских войск, которые стремились захватить Наполеона и остатки его армии на Березине, французскому императору удалось уйти от пленения, и война в

Европе продолжалась еще два года, и стоила еще десятков тысяч человеческих жизней. Но у потомков Телля свое представление о чести.

О швейцарце Вильгельме Телле, стрелявшем из арбалета в яблоко на голове сына, слышали все, но редкий читатель знаком с первоисточником. Впервые легенда упоминается в 1570 году Эгидусом Чуди в “Хроникон Гельветикум”. Итак, некий крестьянин не оказал почтения символу власти – повешенной на столбе шляпе австрийского наместника Геслера, и на него донесли. “В понедельник послал он (Геслер. – *М.Ш.*) за Теллем и с гневом спросил, почему тот не подчиняется указам и не поклонился шляпе, оскорбив тем самым честь императора и его наместника. Телль отвечал: «Господин мой, произошло это не из злого умысла, а по недосмотру. Будь я благоразумный человек, меня не прозвали бы Теллем (диал. “простак”. – *М.Ш.*). Я прошу Вашу милость простить мне и приписать этот проступок моей дурости. Это никогда более не повторится»”.

Легенда о Телле – это инициационный миф. Первобытный этап развития, когда царит право кулака, завершен, сознание народа вступает в пору взрослого понимания необходимости конвенции, добровольного подчинения порядку, законам, пусть и не самым приятным, но необходимым. Это миф о добровольном подчинении договору и наказании за его нарушение.

Шляпа законодателя и исполнителя данных законов – символ порядка, правил, которые могут быть нам неприятны, но лежат в основе сосуществования, делают возможным частную жизнь, нормальное функционирование общества. Мы поклоняемся этой шляпе, например, тем, что платим налоги. Герой мифа нарушает порядок, преступает закон, вовсе того не желая, и готов понести за это наказание, то есть осознанно принести жертву ради сохранения порядка, который он невольно нарушил. Готовность по приказу Геслера стрелять в сына есть свободный выбор подчинения договору, готовность принять условности закона, существующих правил. Из пространства нечаянного нарушения договора герой хочет вернуться обратно в рамки закона – путем добровольного понесения наказания. Свобода как осознанная потребность жить по установленным правилам. В этом смысле Телль, послушно выполняющий приказание стрелять в своего собственного сына, и есть борец за свободу.

Фридрих Дюренматт сформулировал это понимание свободы в звонкой метафоре: “Швейцария – это тюрьма, в которой каждый заключенный доказывает свою свободу тем, что является собственным охранником”. Это, пожалуй, самое удачное определение демократии, которая может существовать только как

результат самоограничения, самоконтроля.

Приказ самодура стрелять в ребенка – лучший момент для восстания против существующего порядка. Именно здесь любой из нас, имеющих собственных детей, нарушил бы условия общественного договора, каким бы законопослушным ни был. Но именно сохранить договор – цель Телля. Ослушаться властей, нарушить закон – черта, через которую не может переступить национальный герой Швейцарии. Бог на его стороне: стрела пронзает яблоко, доказывая правоту его законопослушной жизненной позиции. Отец нации искупил свою вину и остался в рамках существующих правил.

Нарушает же договор именно Геслер. Он не сдерживает своего слова отпустить удачливого стрелка на свободу и велит снова схватить Телля. Нарушение своего слова наместником является в этом мифе нарушением закона. Преступление против порядка совершает иностранец, и за это должен быть наказан. Убийство Геслера и есть восстановление законности руками духовного основателя Швейцарии.

Если бы был объявлен конкурс на тему “Памятник Швейцарии”, я предложил бы тюрьму. Не метафорическую тюрьму Дюренматта, а самую обыкновенную.

Кто-то сказал: хочешь понять людей, посмотри на их тюрьму. Я отправился в тюрьму в Аффольтерн-ам-Альбис на экскурсию. То, что я увидел, вызывало ассоциации вовсе не с тюрьмой, но скорее с домом творчества Союза советских писателей. Только в сравнении со швейцарской тюрьмой дом писателей явно проигрывал. Что не удивительно, если содержание одного заключенного обходится налогоплательщикам в 400 франков в день.

Начальник тюрьмы – местный крестьянин, который увидел объявление о том, что ищут человека на должность директора местного исправительного заведения. Подал заявление о приеме на работу, прошел конкурс и получил это место. Огромный деревенский увалень, в котором и сейчас, через много лет работы в тюрьме, осталось что-то добродушно-крестьянское. Он водил меня по тюрьме, как по своему хозяйству, о котором с любовью заботился. Своих заключенных всех знал с их семейными подробностями, при встрече похлопывал по плечу. В кабинете на стене напротив списка зэков – указания, когда у кого день рождения, чтобы не забыть сделать подарок, кто чем болен, кто мусульманин и не ест свинины. Заключенные, если хорошо себя ведут, получают возможность работать и деньги посылают к себе домой – в Албанию, Косово, Африку. В тюрьме не было ни одного

швейцарца. Разумеется, это не говорит о том, что швейцарцы не грабят, не режут, не убивают.

Я спросил бывшего крестьянина, в чем тот видит свою цель как директор тюрьмы. Он подумал и ответил: “В том, чтобы мои заключенные были довольны”. И уточнил: “Если они довольны едой, работой, бытовыми условиями, начальством, охраной, то у них нет повода для эксцессов, мятежа и прочее. Это – люди, и я уважаю в них человеческое достоинство”.

Странно мне было все это. Смысл тюрьмы в наказании. Наказание здесь заключается не в физических мучениях плохой едой, темнотой, холодом, плохими условиями сна, тараканами, избиениями, цель которых унизить, растоптать в тебе человека, но в лишении свободы, то есть в лишении возможности осознанно, свободно подчиняться существующим правилам. Тюрьма в Швейцарии должна лишить человека того, чего у него и так нет ни в Албании, ни в Африке. Ни в России.

Потом в столовой мы ели все вместе – заключенные, директор, экскурсант.

Эшер фон дер Линт, известный швейцарский инженер, гуманист и политик, сказал два века назад: “Нам отраднее видеть счастливых граждан и богатых подданных на площадях, нежели красивые памятники”.

Может быть, послать эти внятные слова на конкурс русской идеи?

2005

Кампанила Святого Марка

“Плодитесь и размножайтесь! И это все, что нам завещано? Но этому завету следуют и мыши, и палочки Коха. Ведь человек неизмеримо больше своего физического естества! Ведь нельзя всю меня, все мои нерастраченные силы, жажду совершить что-то важное, большое, нужное, полезное человечеству, моему народу, моей родине, свести к продолжению рода!”

Это отрывок из письма Лидии Кочетковой своему будущему мужу Фрицу Брупбахеру, отправленного в октябре 1898 года.

С этой удивительной историей любви я впервые соприкоснулся, когда собирал материалы для моей “Русской Швейцарии”. Шесть тысяч писем и открыток хранятся в архиве Международного института социальной истории в Амстердаме.

Семнадцать лет переломной эпохи, запечатленные в переписке.

В России Фриц Брупбахер почти неизвестен, да и в Швейцарии его забыли, хотя на тусклом фоне швейцарских политических деятелей этот человек ярко выделяется своей “нешвейцарской” чертой – неспособностью к компромиссу. Врач в рабочем районе Цюриха, депутат городского совета, активный интернационалист, публицист, социалист, он был исключен из Швейцарской соцпартии во время Первой мировой за пацифизм. Один из основателей компартии Швейцарии, он в 32-м году был исключен и из ее рядов за резкую критику Сталина. Автор социалистических брошюр и интереснейших мемуаров, он умело владел пером и перед смертью в январе 1945 года в возрасте семидесяти лет сожалел, что не стал писателем.

Кстати, в Цюрихе памятная доска на доме 14 по Шпигельгассе, в котором жил во время своей эмиграции Ленин, повешена по инициативе именно Фрица Брупбахера, лично знавшего и лидера мирового пролетариата, и многих других известных и неизвестных русских революционеров.

Студентом-медиком в 1897 году он встретился с девушкой из России и влюбился в нее. Она стала его женой. В мемуарах “60 лет еретика”, изданных в 1935 году, он напишет об этом браке: “Я был женат на русской революции”.

Лидия Кочеткова. К моменту знакомства с Брупбахером ей двадцать пять. Она родилась в Самаре, училась в Петербурге на женских курсах у знаменитого врача Лесгафта, потом отправилась получать медицинское образование за границу. Посещала лекции в университетах Берлина, Женевы, Берна. Городом, где она защитила диплом врача и встретила любовь

своей жизни, стал Цюрих.

“Врач – это путь, а не цель, – написала она в одном из ранних писем, объясняя Фрицу разницу между швейцарскими и русскими студентами-медиками. – Моя цель – революция”.

Кумир Лидии Кочетковой, народоволка Вера Фигнер, по следам которой девушка приехала учиться на врача в Швейцарию, внятно объяснила в своих воспоминаниях это отношение русских студентов к будущему занятию – профессия врача позволяла беспрепятственно вести пропаганду в народе.

Революционными идеалами был пропитан русский воздух. И в семье Кочетковых к революционерам отношение было особое. О рано умершем отце мы практически ничего не знаем, но из писем известно, что с детства Лидия увлекалась рассказами матери, выросшей в Иркутске, как великий ниспровергатель Кропоткин, тогда еще царский офицер, просил у нее руки, но родители институтки князю отказали. В мать Лидии, Анастасию Ивановну, которая была близка к революционным кругам и сама одно время находилась под тайным наблюдением полиции, были в молодости влюблены известные народовольцы Лазарев и Шишко. Уже будучи в швейцарской эмиграции, они повлияют на выбор партии – Лидия присоединится к эсерам.

Еще до встречи с Фрицем Брупбахером у Лидии четко сформировались жизненные идеалы: “Я готова пожертвовать всем, что у меня есть, ради счастья народа”.

Неудивительно, что русская девушка с такими необычными для швейцарской реальности взглядами произвела впечатление на молодого гельвета. Брупбахер вспоминал эти дни: “Русские студентки презирали нас, швейцарских студентов-медиков, которые учились для получения солидной профессии и солидного дохода. Для Лидии швейцарцы, как и представители других западноевропейских стран, в массе своей олицетворяли такой тип людей, которому свойственны многочисленные недостатки и пороки: духовный консерватизм, ориентированность исключительно на материальные ценности, холодный расчет, бездушность и эгоизм. Швейцарского студента занимали проблемы доходности ценных бумаг и выгодной женитьбы, русского – проблемы переустройства всего света. Она заразила меня социализмом, давала читать книги, водила на собрания. Лидия и ее горячечная вера в социалистический идеал настолько захватили меня, что я готов был последовать за ней куда угодно”.

В его чувстве к Лидии переплелись страсть и к социалистической истине, и к русской экзотике: “Русская женщина оказалась для меня совершенным открытием – наполненная жизненными страстями, нескрываемыми эмоциями,

необыкновенной энергетикой. Разница между нами чувствовалась во всем, в быту, в поведении, в манере говорить, мыслить, в каждой мелочи, даже в том, как мы готовились к экзаменам: швейцарцы брали эту крепость многомесячной осадой, русские – лихой атакой".

Спустя годы, пытаясь понять природу той веры в социализм, которая овладевала душами молодых людей, Брупбахер напишет: "Для нее народ и любовь к народу были что-то вроде религии, при этом слово религия в ее присутствии вообще нельзя было произносить. Высшим идеалом было принять мученичество – отправиться на каторгу или еще лучше кончить жизнь на виселице. По этим людям можно было представлять себе первых христиан, шедших на казнь со слезами счастья".

Он вспоминает "иконостас" в ее комнатке – гравюры и фотографии мучеников революции: Софьи Перовской, Веры Фигнер и других террористок.

"Ядром того, что русские понимали под социализмом, – читаем далее в его воспоминаниях, – было стремление растворить свое Я в идее самоотречения для народа. Все остальное в социализме было второстепенно. Это была страсть жить для других. Я само по себе не представляло никакой ценности. Она пожертвовала своими любимыми научными занятиями в области естествознания, чтобы стать врачом, жить среди народа и посвятить свою жизнь служению ему. Ее переполняла ненависть к царизму. Примером для нее служили цареубийцы из кружка Перовской. <…> Эта настоящая, без какой-либо позы, страсть к самопожертвованию ради идеи, страсть растворить все свое Я, приводила в смущение, сбивала с толку и имела что-то сказочное для человека, являвшегося представителем народа, о котором на всем свете говорят: «Без денег нет гельветов»".

Чувство, которое охватило молодых людей, стремительно несло их навстречу друг другу, несмотря на все ментальные и национальные преграды.

Ее письмо от 25 июля 1899 года:

"Ты боишься, что я полюбила тебя, потому что ты стал социалистом? Если бы в этом вопросе социализм был определяющим, то, поверь, я влюбилась бы в Бебеля, а не в тебя. Твое обращение тем важнее, что теперь между нами устранено последнее препятствие для нашей любви. С тех пор, как ты стал социалистом, я забываю, что ты социалист, и люблю тебя, потому что люблю тебя. Это такое счастье!"

В другом письме того же года: "Сердце мое! Я люблю тебя именно потому, что ты совсем не похож на швейцарца! Я никогда бы не смогла полюбить одного из этих мещан, думающих только

о своем домике и садике! Я с самого начала почувствовала в тебе, что ты – один из нас”.

Живя в одном городе и часто встречаясь, они писали друг другу ежедневно, и даже по несколько писем в день.

Получив диплом врача, Брупбахер открывает практику в Ауссерзиле, рабочем районе Цюриха, и начинает политическую работу – пишет в социалистические издания, устраивает собрания, много выступает. Рабочие избирают его своим депутатом в Городской совет. Лидия тоже заканчивает учебу в университете, и встает вопрос об их совместном будущем.

Он предлагает ей пожениться, но у молодой женщины никогда не было ни намерений, ни желаний навсегда связывать свою судьбу со Швейцарией – Лидия мечтает о работе земским врачом в русской глубинке. Влюбленные становятся перед неразрешимой дилеммой: оба хотят бороться за социализм – он у себя на родине среди цюрихских рабочих, она – в России среди крестьян, и оба хотят быть вместе.

К тому же и отношение к семье как социальному институту у нее сложное.

“Само слово брак мне отвратительно, – пишет Лидия Фрицу в ноябре 1900 года. – Мы с тобой новые люди, люди будущего, и мы будем строить такие отношения, которых эти бюргеры просто не знают. Ненавижу их лживый брак! У нас с тобой все будет по-другому!”

Влюбленные заключают удивительный для своего времени брачный договор: они предоставляли друг другу свободу проживания в разных странах и отказывались от детей.

“Обычный брак – ложь. Наш брак – протест, – пишет она своему жениху. – Мы идем против течения. Сердце мое, я горжусь тобой! Я горжусь нами! Не могу выразить словами, как я счастлива твоей любовью! Твоя любовь – самое прекрасное, самое дорогое, что у меня есть”.

Но это объяснение не мешает ей в том же письме утверждать обратное: “Итак, все же есть нечто более сильное и великое, чем любовь к отдельному человеку”.

На отношение Лидии к браку как таковому сказался опыт ее родителей.

“Я знаю, как семья уничтожает личность. Моя собственная мать тому прекрасный, а вернее сказать, жалкий пример. Брак с моим отцом именно уничтожил в ней личность. Девушка с идеалами превратилась в буржуазную ничего не делающую даму, которая бездарно растрачивает время своей жизни по курортам. Без цели, без высшего предназначения. Дети выросли, ушли, и она осталась с пустотой внутри себя и вокруг”.

Традиционная семья в понимании Лидии представляла собой источник человеческого несчастья.

“Как часто я слышала от матери с самого детства, что брак сделал ее несчастной. Она вышла замуж по любви, но в конце концов все кончилось тем, что она возненавидела мужа, видела в детях причину своего несчастья и оплакивала свою умершую душу. Мама не уставала повторять, что дети связали ей руки и она из-за них не смогла осуществиться в этой жизни”.

Отношения с матерью и братом Вячеславом у Лидии не сложились. Анастасия Ивановна жила большей частью за границей на оставленный мужем капитал, “не принося никакой пользы обществу, стране, народу”. Дочь ставила ей в вину “общественную бесполезность”, хотя почти всю жизнь жила на исправно присылаемые матерью деньги.

“Да, она умная, энергичная, способная. Но какая человечеству от этого польза? Да, она увеличила население земли на двух младенцев – но это произошло против ее воли. Для чего она появилась на этом свете? Неужели для курортных процедур?”

И в другом письме снова о матери: “Какие страшные слова я сейчас напишу: я презираю мою мать и больше всего на свете не хочу быть на нее похожей. Бедная моя мама! Что с тобой сделалось? Почему? Моя жизнь будет совсем другой!”

Брупбахер вспоминает: “Первым мужчиной в ее сознании был отец, который навсегда запечатлелся в отвратительном пьяном образе. От детства остались воспоминания о бесконечных семейных скандалах и унижениях матери. Да и с братом Вячеславом из-за отсутствия у того высоких революционных идеалов Лидия прервала всякие отношения. С семьей у нее не связывалось ничего положительного. По сути она была очень одиноким человеком”.

В более позднем письме, отправленном в декабре 1913 года, Лидия напишет: “Ты говоришь о важности любви в детстве – это так правильно! Рядом со мной никогда не было такого любящего существа – и мама, и брат, и няня никогда не были мне по-настоящему близки. Никогда не было настоящей подруги. Все это были суррогаты – люди, которые назывались близкими, но никогда такими так и не стали. А мне так было нужно, чтобы меня любили! И никого, кроме тебя, никогда не интересовало по-настоящему, что происходит со мной, с моей душой”.

Активно обсуждался в переписке и вопрос отказа от рождения детей.

“Рождение детей – это конец всем моим мечтам о настоящей большой жизни, наполненной полезной важной деятельностью. Рано или поздно нужно сделать выбор: дети или воплощение

моих идеалов. Одно нужно принести в жертву другому. И потом, если я готова принести в жертву себя – как я могу оставить ребенка в этом мире? Что будет с ним?”

Она ищет аргументы против рождения ребенка и находит их: “И дети – как можно рожать детей, если мы отвечаем перед ними за тот мир, в котором они окажутся? Нам будет стыдно смотреть им в глаза. Нужно сначала переделать этот мир. Фриц, любимый мой, я хочу ребенка, но я не могу себе это позволить. Я должна отказаться, принести его в жертву чему-то несравнимо более важному”.

Сложным для влюбленных оказывается и вопрос “физической любви”. Она откровенно пишет ему о своем страхе перед “плотским”. “Милый мой, я люблю тебя, но не могу показать тебе свои чувства, меня что-то останавливает каждый раз. Хочу тебя приласкать, но не могу переступить через какое-то сопротивление в себе. Очень прошу тебя, не торопи меня!”

В письмах Брупбахер выражает свои чувства сдержанно, но в архиве в Амстердаме сохранился его дневник, которому он поверял самые интимные мысли. Запись от 30 июня 1901 года: “Это сумасшествие. Я больше не могу жить без нее. Лидия – мое будущее, моя жизнь. Без нее все мое существование – ничтожно. Я жил и не знал, что такое любовь. У нас очень большие проблемы с близостью, но я готов терпеть сколько угодно, чтобы помочь ей. Она мучается. Она не может преодолеть в себе какое-то отторжение, неприятие телесного, она ненавидит «человеческое мясо». Она намекнула мне, что в ее жизни произошло что-то страшное, не знаю, в детстве или в ранней юности, связанное с мужской грубостью. Сегодня она сказала, что ей трудно преодолеть эту животность в человеке, но она постарается сделать это ради меня. Я и хочу этого, но и боюсь, что я окажусь для нее этим самым животным. Но именно этого я не хочу!”

Вопрос физической близости обсуждается месяцами, но решение его все откладывается. Снова и снова она пишет: “Это инстинкты. А животное в себе нужно подавлять, потому что мы люди, а не животные. Но я люблю тебя, и вижу, как тебе мучительно. И это обязательно произойдет, только дай мне время, любимый!”

Пора сделать окончательный выбор, остается она с ним или уезжает в Россию для исполнения своей мечты. Лидия колеблется: “Сердце мое! Чувствую любовь к тебе каждой клеточкой моего тела! Такая иногда нахлынет волна нежности к тебе, что, кажется, брошу все, что было мне важно, и просто стану твоей женой, буду рожать тебе детей, ухаживать за домом, следить, чтобы твои сорочки были чистыми и глаженными! А

потом вдруг как ушатом холодной воды – так ведь ты же первым меня сразу же и разлюбишь, потому что это буду уже не я! И ты меня любишь только потому, что я такая, какая есть”.

Окончательное решение было отложено до их свадебного путешествия. Фриц Брупбахер и Лидия Кочеткова заключили все-таки официальный брак в мэрии города Цюриха. В июле 1902 года они отправились в Италию. Из Милана их путь лежал в Венецию. Брупбахеру казалось, что сама атмосфера города влюбленных поможет им.

За день до их приезда, 14 июля, обрушилась кампанила Святого Марка, знаменитая башня на пьяцца Сан Марко, символ Венеции. В дневнике Брупбахер записывает: “Воспринимать это как знак? Плохое предзнаменование для нашей семейной жизни? Для наступившего столетия? Пожалуй, не с календарной даты, а именно с этой катастрофы и начался по-настоящему XX век. И как удивительно, что никто не пострадал. Может, и это знак? Так хочется, чтобы этот век вошел в историю самым счастливым веком человечества!”

К той поездке они не один раз еще будут возвращаться в своих письмах.

Среди прочих рукописей Брупбахера в амстердамском архиве хранится и манускрипт начатого, но незаконченного романа. 25 страниц. Заглавие ненаписанной книги – “Кампанила Святого Марка”. Главные герои, молодые влюбленные, приезжают в Венецию, город, который должен стать их раем, но они оказываются в аду своих запутанных отношений.

В дневнике Брупбахера за те дни появляются отчаянные записи: “Какие ужасные слова – жена, муж. Новобрачные. Неужели это мы? Здесь мы будто играем в какой-то дурной пьесе. Венеция! Сюда принято приезжать молодоженам и восторгаться этими изысканными декорациями. Вдруг опротивело все, и больше всего все эти ряженые гондольеры! Это место придумано для того, чтобы приезжие делали вид, что они счастливы именно от того, что приехали сюда. А туземцы продают им это счастье. Отвратительно!”

На следующее утро он записывает: “Ужасная ночь. Лидия невыносима. Я невыносим. Во всем кляну себя. Мы в раю, но чувствуем себя из него изгнанными. Она сказала, что на завтрак не пойдет. Сижу один на террасе с видом на лагуну. Воробьи норовят стянуть что-то со стола, нужно все время отмахиваться. На набережной мертвый голубь – чайка клюет его внутренности. Почему я ждал от Венеции счастья? С каждым днем я люблю Лидию еще сильнее”.

Результатом той поездки стало решение, что каждый будет

вести борьбу за светлое будущее своего народа в своей стране и, по возможности, они будут встречаться каждый год.

В Петербурге Лидия сдала государственный экзамен, который давал ей право практиковать на территории Российской империи, и получила назначение в качестве земского врача в Смоленскую губернию, в деревню Крапивня в 45 верстах от железной дороги. Ее мечта о служении народу, наконец, претворялась в жизнь.

Реальность сразу подействовала отрезвляюще.

“Сорок убогих дворов, монопольная торговля водкой, церковь и два пьяных до смерти мужика в сугробе. Больше здесь ничего нет. Врача видят только если нужно сделать вскрытие или на освидетельствовании рекрутов. Лечатся сами. Дикость, никаких представлений о гигиене, не говоря уже о порядке и чистоте. Все кишит паразитами, всюду блохи, вши, тараканы. Невозможно назначить ни клизмы детям, ни промывание женщинам, потому что у крестьян нет ни денег, ни желания купить резиновый шланг. Да это и не продается ни в бакалейной лавке, ни в государственном магазине, где только монопольная водка, а других магазинов тут вообще на сто верст кругом нет. Употребление ножа и вилки тут неизвестно, и едят здесь вообще без тарелок – все хлебают из одного горшка сразу, и матери дают детям из своего рта прожеванную пищу. Неудивительно, что борьба с инфекциями в такой обстановке превращается в несмешную комедию. Всюду сифилис, кондиломы у взрослых и детей, у мужчин и у женщин. Трахома распространена колоссально, все друг друга заражают, остановить это невозможно. Можешь себе представить, какой беспомощной я себя чувствую. Вчера пришел крестьянин с сыном, ребенок отрубил себе топором палец. Вместо того чтобы держать рану в чистоте, отец замотал обрубок пальца паутиной с печных углов. Теперь боюсь, что у мальчика будет заражение крови”.

Современного читателя в этих письмах удивляет, пожалуй, лишь работа почты того времени. Письма из Петербурга в Цюрих доходили всего за три дня, а из Крапивни – меньше чем за неделю.

Цюрихская студентка, мечтавшая о служении народу, впервые с этим народом столкнулась, и письма ее проникнуты разочарованием. Больше всего ее неприятно поражает грубость нравов и жестокость русской жизни.

“Ты восторгаешься мною и моей работой, потому что ты так далеко и не представляешь себе все, что вокруг меня и с чем я сталкиваюсь каждый день! – пишет она Брупбахеру весной 1903 года. – Этих людей еще не коснулась ни цивилизация, ни христианство. С какой звериной злобой они пьяные дерутся! Как

избивают своих жен и детей!”

В минуты слабости Лидия пишет: “Вспоминаю твою зеленую лампу, твои глаза, бороду, твои книги, твою трубку. Вижу, как ты набиваешь ее и выпускаешь дым в потолок. Как нам было бы сейчас хорошо вместе! Корю себя, что злила тебя, когда были вдвоем, вместо того, чтобы быть нежной с тобой”.

Мать в это время живет в Лозанне, присылает Лидии деньги и умоляет вернуться. Об этом не может быть и речи: “Мне трудно, но именно поэтому я останусь здесь. Ей на зло! Уехать, сдаться, это признать поражение. Я буду бороться!”

Переписка с любимым Фрицем помогает ей в этой борьбе.

В письмах Брупбахер поддерживает Лидию во всем, но в дневнике он более честен с самим собой и делится своими сомнениями:

“Одно дело теория – другое практика. В теории я, разумеется, поддерживаю равноправие полов, независимость партнеров. Я и сейчас бы подписал тот наш брачный контракт. Но какая пропасть с реальной жизнью! Какая мука жить порознь! Я не выдержу. Пишу ночью. Ночью я никакой не борец, а самый обычный примитивный человек, я хочу семьи, уюта, ребенка – только боюсь это сказать открыто. Потом, после бессонной ночи и короткого забытья перед рассветом, приходит утро. И я беру себя в руки. Я снова готов к борьбе. И моя Лидия помогает мне быть борцом. Из наших писем мы оба черпаем силы для нашей жизни, для нашей борьбы”.

Через несколько дней снова запись о том, что его не перестает мучить: “Днем – практика, больные, я им нужен – потом заседания, выступления, работа в городском совете, с рабочими – я пишу статью – но вечером, но ночью… Такая тоска охватывает! Так хочется прижаться к ней, обнять ее, любить ее!”

И опять борьба с самим собой: “Мы с Лидией обещали друг другу нести вместе все тяготы нашего общего великого дела, пожертвовать нашим маленьким миром ради большого, нашим индивидуальным ради человечества – и я сдержу свое слово”.

Влюбленные страдают от долгой разлуки. В переписке возникает вопрос о верности:

“Мне важно только, любишь ли ты меня, – заявляет Лидия. – Потому что, пока ты меня любишь, мне нужна твоя верность. А если твоя любовь пройдет – тогда я верну тебе твою верность, тогда мне не будет в ней никакой необходимости”.

Они все время пишут о том, как ждут встречи, и наконец в июне 1903-го, после года работы в Смоленской глубинке, Лидия приезжает к мужу в Швейцарию. Но в последующих письмах о долгожданной встрече оба вспоминают не в самых восторженных

тонах.

По дороге в Цюрих она послала открытку из Москвы: “Ехать к тебе – какое счастье! Быть твоей – самое большое счастье моей жизни!” Но после отъезда из Цюриха осенью, она напишет: “Сердце мое, почему в наших встречах больше боли, чем радости? Я ужасная. Я вдруг – сама не знаю отчего – могу стать грубой, жесткой, даже жестокой, и все это к самым близким людям. Обижу их ни за что, а потом раскаиваюсь и плачу. Прости меня, любимый мой! Прости!”

В дневнике Брупбахер в августе 1903 года записывает: “Как странно: любить человека издали – одно, а любить человека живого, рядом с тобой – совсем другое. Кажется, что в письмах мы очень близки, а при встрече отдаляемся друг от друга. Как так может быть? Не понимаю. От этого очень больно. В письмах нам лучше, чем в реальной жизни. Может, поэтому она не выдержала в Цюрихе и уехала в Марбах на курорт? Может, здоровье – это был только предлог? У меня складывается впечатление, что на самом деле мы оба боимся наших встреч. Мы спасаемся письмами, наша переписка – это попытка убежать от нашей невозможности жить ни вместе, ни порознь”.

Осенью Лидия возвращается в Россию, на этот раз она устраивается земским врачом в селе Александрово, в 12 верстах от городка Судогда во Владимирской губернии.

Впечатления от нового места жизни и работы ненамного разнятся с тем, что было в письмах из Крапивни: “Амбулатория ниже всякой критики – маленькая, грязная, убогая. Я здесь одна на 150 деревень в округе. Ночью спать невозможно из-за полчищ кровожадных насекомых. Зеркало разбила влетевшая в окно курица – так что теперь даже не знаю, как я выгляжу. Может, это и к лучшему. Ко мне относятся с недоверием. Грыжу тут по старинке старая бабка лечит своими укусами, а от всех других болезней лечатся водкой – заливают и раны, и язвы, и в глаза при трахоме”.

Брупбахер пишет ей о своих трудностях в работе со швейцарскими рабочими, что их сложно заинтересовать социализмом. На это Лидия отвечает: “Все, что ты рассказываешь о ваших рабочих, это просто Эльдорадо по сравнению с тем, что происходит здесь. Вообще, образованному человеку идти в народ трудное занятие, а идти в русский народ – требует нескончаемого оптимизма. И особенно трудно после того, как столько лет прожил в Европе”.

С каждым письмом растет ее неуверенность в себе и в правильности сделанного выбора: “Все время задаю себе вопрос: способна ли я вообще к практической медицине? Сижу одна и

плачу. Реву как последняя баба. Одно утешение, что пишу тебе об этом! Любимый мой, если бы не ты, я не смогла бы жить!”

В октябре происходит несчастный случай, в котором она винит себя и который сильно повлиял на отношение крестьян к ней. “Я отравила человека. 80-летний старик напился и, поскольку монополия была уже закрыта и водку достать было негде, он выпил склянку с лекарством, которое я ему дала. Атропиновые глазные капли. Завтра будут похороны. Теперь его дети и все в деревне меня ненавидят. Уже приходили и кричали всякие гадости и угрозы у меня под окном. Опять они все напьются, а я опять ночью буду пытаться заснуть и дрожать”.

В другом письме она рассказывает, как к ней пристал пьяный и ей пришлось схватить топор, чтобы защитить себя. “Он вмиг протрезвел. Но теперь мне приходится ложиться спать – из-за ненадежности замка – с топором у кровати”.

Она снова полна душевных колебаний: “Вспоминаю, как в Цюрихе мечтала о великой цели и задаче работать среди народа для народа, приносить себя ему в жертву. Разве об этом я мечтала? Неужели об этих людях писали, что в нашем народе уже в душе живет социализм? Где, где тот русский народ? Я хочу отсюда к нему!”

За полтора года работы во Владимирской губернии Лидия приходит к выводу, что ей не нужно заниматься медициной, а нужно целиком посвятить себя революции.

“Чем больше меня охватывает разочарование в моей теперешней деятельности, тем сильнее во мне растет ненависть. Здесь невозможно строить, созидать – все впустую. Здесь нужно сперва разрушить эту систему, которая не дает людям жить по-человечески. Эти люди живут по-скотски, потому что они не знают другой жизни. Сама жизнь в России их развращает, тут нужны для выживания самые подлые качества. Мы же это изучали! Естественный отбор. Здесь выживают только самые бездарные и подлые, тупицы и хамы. Нужно сделать что-то с самой жизнью, с мироустройством, нужно уничтожить всю эту подлую систему! С каждым днем я все сильнее чувствую, как во мне растет ненависть к этому несправедливому миру. Я знаю, чему теперь отдать мою жизнь!”

Лидия Кочеткова принимает решение стать профессиональной революционеркой.

“Сердце мое! – пишет она в конце 1904 года. – Я снова полна сил и уверенности в себе и в моем будущем. Все колебания и депрессии остались в прошлом. Я часто вспоминала нашу Венецию и столько раз задавалась вопросом, правильно ли я тогда поступила. И теперь я счастлива, что тогда сделала

правильный выбор. И я знаю, любимый мой, что ты поддержишь меня!”

С началом Японской войны в стране начинается брожение, и Лидия решает, что она должна быть среди тех, кто поведет русский народ на борьбу с царизмом. Она едет в Швейцарию, где находятся штаб-квартиры всех радикальных партий, и по дороге из Петербурга шлет радостное письмо Брупбахеру: “В воздухе чувствуется революция, которую так ждали! Мы, вся русская интеллигенция, верим и надеемся, что японцы русских основательно вздуют. Поражение подорвет у народа доверие к правительству. Кругом чувствуется всеобщее недовольство и слабость правительства. Великую историю переживаешь только раз в жизни. Прекрасные революции приходят лишь раз в сто лет. Какое счастье дожить до нее, готовить ее, участвовать в ней! Да здравствует революция!”

Самая близкая ей партия – социалисты-революционеры. При этом почти весь 1905 год она проводит в Женеве, где снимает комнату в том же доме, в которой находилась штаб-квартира эсеров. Лидия знакомится с ведущими деятелями партии и с нетерпением ждет, когда с важным поручением отправится на родину. Она вращается в кругу знаменитых революционеров, дружит с Брешко-Брешковской, Верой Фигнер, знакомится также с Бурцевым, будущим разоблачителем Азефа. Она в восторге от него и не подозревает еще о той роли, которую этот человек сыграет в ее судьбе.

Ей тридцать три года. Она счастлива, что наконец обрела смысл своей жизни. Письма ее в Цюрих полны радости от предстоящей работы и уныния, что ее все никак не посылают в Россию.

Наконец, когда революция уже идет на спад, она отправляется в Саратов с поручением восстановить разгромленную партийную организацию, обеспечить распространение агитационной литературы и подготовку экспроприаций и крестьянских восстаний. Программная установка партии – немедленные восстания на местах, которые должны перерасти во всеобщую революцию. Три года, с 1906-го по 1908-й, Лидия Кочеткова является представителем партии в Саратовской губернии.

Сперва письма с берегов Волги исполнены оптимизма. Принадлежность к партии окрылила ее: “Так важно чувствовать себя частью чего-то большого, важного, нужного. Я испытываю счастье, которого никогда в жизни не испытывала. Если нужно отдать за это жизнь – то это совсем небольшая плата за возможность испытать то, что я сейчас чувствую в моей душе”.

Возможность избавиться от своего я, отречься от него, раствориться в великом общем деле придают ее существованию смысл. Ей кажется, она нашла то, к чему стремилась все эти годы: “Семья – это мои товарищи. Всюду, где бы ты ни находился, ты часть большой великой семьи – партии! Наверно, в этом чувстве сопричастности, родства, я, наконец, обрела то, что всю жизнь искала”.

И она, вслед за Брупбахером, сравнивает это переживание с религиозным экстазом: “Да, мы похожи на христиан первого века – та же святая вера в близкое счастливое спасение мира, та же готовность к жертве, тот же отказ от личного, от мещанского, от вещей, от детей, от всего, что отвлекает от великой идеи. С той разницей, что религия – ложь, а революция – истина!”

В письме от 2 мая 1906 года Лидия описывает, как с товарищами они ездили по Волге на лодках на “маевку”, которую устроили на острове: “Возвращались ночью, светила огромная луна, и, сердце мое, я вдруг вспомнила нашу Венецию и ту нашу луну! И такая щемящая грусть нахлынула к горлу. Я расплакалась. Товарищи стали надо мной смеяться, и мы принялись петь революционные песни. Такая волна счастья накрыла меня с головой! Любимый мой! Мы так далеко друг от друга! И так близки!”

В конце мая она сообщает с восторгом о совершении покушения на начальника саратовской тюрьмы Шаталова. Но уже следующее письмо выходит задумчивым. Покушение, совершенное семнадцатилетним учеником слесаря железнодорожных мастерских, где товарищи Лидии распространяли прокламации, вышло неудачным: “Шаталов поправился и пошел на повышение – его взял к себе Столыпин, у тюрьмы теперь новый начальник, мальчика повесили. И вот меня не отпускает мысль: для этого ли тот ребенок родился и прожил свои 17 лет? Он, безусловно, герой, и о нем передовая Россия никогда не забудет, ему когда-нибудь поставят памятник, но страшно подумать о его последних минутах перед виселицей. Вдруг он раскаялся в том, что совершил? Как страшно ему тогда было умирать …”

Уже в следующем письме Лидия отбрасывает сомнения, ее мучают угрызения совести, что она “распустила нюни”, что ее вера поколебалась. Она снова бросается с головой в революционную работу. По заданию партии она летом 1906 года отправляется вести революционную пропаганду в Аткарском уезде Саратовской губернии. Ей удается наладить издание и распространение листовок, а потом она начинает заниматься и доставкой оружия, и организацией “эксов”.

1 октября 1906 года Лидия в эйфории сообщает в Цюрих из Аткарска о разгромах помещичьих усадьб: “Экспроприации по всей губернии! Наш народ самый чудесный на свете! Его душа – чистый анархист в самом кропоткинском смысле этого слова! Абсолютное игнорирование закона, полное отсутствие самого понимания законности. Экспроприации происходят с той естественностью, с которой это могут делать только люди, у которых в голове нет никакого сдерживающего представления о собственности, о своем и чужом, а есть только коммунистические инстинкты”.

Но очень скоро в письмах все сильнее начинают звучать ноты разочарования. Она ждет начало всеобщей революции с минуты на минуту, ее задача – организовывать боевые крестьянские дружины и поднимать восстания, но революционная волна не только не поднимается, но и наоборот, идет на убыль. Столыпин жесткими мерами успокаивает страну и готовит свои реформы. Среди революционеров, благодаря работе провокаторов, происходят массовые аресты.

“Снег уже сошел, – пишет Лидия Брупбахеру в марте 1907 года, – а вместо восстаний – сеют. И в этом году, чует мое сердце, не будет никакой революции! Наша программа – призывать к непосредственным восстаниям на местах – это одно. А крестьянская жизнь, похоже, совсем другое. Как только начинается сев или уборка урожая, весь революционный пыл у крестьян исчезает, все, от мала до велика, в полях. Их главная забота – обеспечить свое ежедневное выживание сегодня, а не социалистическая республика завтра”.

Она задумывается о русских женщинах, о простых крестьянках, которых нужно поднять на борьбу с царским режимом: “Я сравниваю себя с этими бабами. Им некогда думать о спасении человечества, им некогда заботиться о счастье народа, им нужно спасать свою семью, детей, думать о том, чем их прокормить. Моя главная забота – вложить всю мою душу в работу по их освобождению, и закрадывается мысль: а вдруг моя душа вовсе им не нужна? Какие грустные мысли приходят среди бессонных ночей”.

В одном из последующих писем говорится о том, что крестьяне смешивают экспроприацию с грабежом. “Все растаскивается по домам, а в усадьбах оставляют следы варваров. Я была в одной такой усадьбе – все разграблено, портретам проколоты глаза, повсюду, во всех мыслимых и немыслимых местах кучи кала. Господи, откуда в моем народе столько кала?! У меня совсем другое представление о нашей революции”.

Ее все сильнее отвращает брутальность, с которой происходят

революционные акции. Она рассказывает в октябре того же года: “Вырезали всю помещичью семью – двух детей, мальчика и девочку. Не пожалели и доктора, который с ними в этот момент находился, и бонну – француженку, но, кажется, кстати, приехавшую из Швейцарии. Убеждаю себя, что так нужно, что без крови и насилия великих революций не бывает. Но именно все дело в том, что я должна себя в этом убеждать… Мне сейчас так тяжело, любимый мой! Такая в людях ненависть! А теперь прибыла из Саратова расстрельная команда, и расстреляли мужиков из ближайшей деревни, не особенно разбираясь, кто виноват, а кто нет. И всеобщая ненависть только растет. И снова мне приходится убеждать себя, что мы переживаем прекрасную великую эпоху и что это насилие – последнее насилие”.

В ее письмах все сильнее чувствуется разочарование в “эксах”: “Если это насилие зальет всю страну, трудно будет его остановить. Для этого потребуется еще большее насилие. Как страшно”.

За три года своего пребывания в Саратовской губернии Лидия Кочеткова несколько раз ездила в Европу. В 1908 году, например, под псевдонимом Волгина она участвовала с решающим голосом от Саратовской организации в партийной конференции в Лондоне, выступала там с докладом. Каждый раз она приезжала в Швейцарию и встречалась с мужем, но встречи их становились все короче.

В дневнике Брупбахера за 1908 год читаем о визите Лидии в Цюрих: “Мы расходимся все дальше и дальше друг от друга. Я снова сказал ей, что хочу, наконец, соединиться с ней, готов поехать работать в Россию, учу для этого русский язык. Ведь отправился Эрисман за своей Надеждой Сусловой в Москву, основал там свою клинику. Не я первый, не я последний. Мы снова говорили о ребенке. Тот брак, который мы ведем с ней, больше не может так продолжаться. Ее ответ: «Семейное счастье – не для революционеров»”.

Разоблачение Азефа не только нанесло удар по всей партии эсеров, но и подорвало, казалось бы, несокрушимую веру Лидии в дело революции. Партийная жизнь практически остановилась. Бывшие товарищи начали подозревать друг друга в провокации. Работа в таких обстоятельствах для Лидии сделалась невозможной и бессмысленной.

“Нельзя что-то делать, если не веришь в успех того, что ты делаешь, – пишет она в январе 1909 года из Аткарска в Цюрих. – Партия разваливается. Партийная работа заглохла. Партия поражена в самое сердце – во всем все видят только провокацию, никто никому не верит. Что я делаю здесь? Вопрос, на который

никто не может дать мне ответа. В Аткарске нет интеллигентных людей, только мещане, а это лишь четвертинки людей. Пролетариат только в больших городах. А здесь – тьма, тоска, убожество, пьянство, черносотенство, грязь – одним словом, русская провинция, которую, кажется, нужно или взорвать, или бежать отсюда. Жить здесь нельзя. Я чувствую себя старой, выгляжу ужасно, седина в волосах, морщины. Жизнь проходит. За три года ежедневного труда я не приблизила мою мечту о великом будущем моей страны и моего народа ни на йоту, как ни старалась. Среди товарищей – постоянная грызня, взаимные подозрения и ненависть. Своих ненавидят еще больше, чем чужих. Приходится выступать мировым судьей в бесконечных партийных судах. И сама с ужасом замечаю в себе, что моя любовь к той семье, которую, как я верила, наконец, обрела, куда-то исчезает. Неужели эти озлобленные бесполезные люди – моя семья?”

Лидия разочарована не только в товарищах по партии, но и в крестьянах: “И все это только для того, чтобы понять: никакая революция им не нужна – а нужна зажиточная жизнь, тупая, но сытая. А чтобы раскачать их на революцию, нужны не пьяные грабежи, а война – и не японская, а настоящая, большая, чтобы государство содрогнулось до самых своих основ, чтобы горе и ненависть пришли в каждый дом, чтобы каждый мужик получил в руки винтовку – тогда только революция сможет взорвать Россию. Но будет ли это той революцией, о которой мы мечтали, которую готовили, ради которой жертвовали собой и всеми кругом?”

Лидию начинают мучить тяжелые депрессии.

“Я все еще сижу тут и чего-то жду, а нужно давно бежать из этого ненавистного городка, где ничего не происходит и никогда не произойдет. Я тут как оставленный Фирс из чеховского «Вишневого сада» – все уехали, а меня забыли”.

Она попыталась снова заняться врачебной практикой, но не смогла: “Никаких медицинских справочных пособий у меня тут нет, а опыта практической работы недостаточно. Ни революционер из меня не получился, ни врач. Кажется, я опять у разбитого корыта”.

В начале 1909 года она снова уезжает в Швейцарию в глубоком душевном кризисе. “Может, дело вовсе не в счастье народа и не в революции, может, просто я хотела в этой единственной данной мне жизни быть счастливой и собиралась принести себя в жертву ради моего личного счастья? И тогда о какой «жертве» здесь может идти речь? Иногда кажется, я совсем запуталась в себе, в моей жизни – во всем. Фриц, любимый мой, мне плохо. Очень плохо. Психически, разумеется. Тело свое я для себя уже давно упразднила”.

Лидия Кочеткова отправилась в последний раз в Швейцарию на лечение и остановилась снова в санатории Марбах на Боденском озере. Но ненадолго. Побег от самой себя становится ее способом жить. Брупбахеру она не смогла объяснить цель своей новой поездки в Россию. Но, похоже, что и себе тоже. “Мне кажется, – записал Брупбахер после посещения жены в санатории, – Лидия никак не может оправиться после всего, что с ней случилось за последние годы. Выглядит она ужасно”.

Так или иначе, 1 июля 1909 года Лидия Петровна Кочеткова пересекла границу Российской империи и была сразу же арестована.

После непродолжительного тюремного заключения ее сослали в административном порядке на три года в Архангельскую губернию, сначала в селение Устьвашка. В первых письмах из ссылки сквозь строчки еще сквозит гордость, ведь традиционно пройти через арест, каторгу или ссылку – в интеллигентной России служило своего рода причащением. Но очень скоро ее тон меняется.

“У меня теперь много времени задуматься о прожитой жизни, – пишет она в сентябре 1909 года из Устьвашки. – Здесь все то же, что и везде в России, – грязь, дикость, пьянство, насилие. Вот сосед зарезал жену ножом – здесь в каждой деревне каждый год кого-то убивают. Мы боготворили народ – а он оборотень. За что его любить? И между ссыльными – склоки, вражда, ненависть. У меня больше нет никакой веры ни во что, а тем более в революцию. Наоборот, охватывает страх, вдруг революция действительно придет? Мы заварили кашу, а расхлебывать предстоит детям и внукам. Иногда думаю – все-таки хорошо, что у меня нет ребенка. Ты видишь, я не в очень веселом настроении. Кроме писем тебе, мне не за что больше зацепиться. Я тону”.

Зимой Лидию переводят в Пинегу, там она заболевает тифом, и Брупбахер, сломя голову, бросается к ней в далекую ссылку. Он едет через Москву и Петербург до Архангельска, а оттуда еще шесть дней на санях.

И снова, в который раз, личная встреча не приносит им счастья. После его отъезда Лидия написала: “Почему мы любим друг друга сильнее, когда мы разлучены? Ты это знаешь?”

Из дневника Брупбахера узнаем, что для него эта поездка оказалась поворотным пунктом в его отношении к жене.

На обратном пути, в Москве, он сделал эту запись: “У меня больше нет никаких иллюзий. У нас нет и не может быть настоящей близости – письма это одно, а жизнь – совсем другое. Мы близки друг другу только тогда, когда между нами тысячи

километров. Наверно, Лидия принадлежит к особому типу женщин – такая женщина настроена не на продолжение жизни, а на самоуничтожение. Она всю жизнь погибает сама и утягивает с собой всех кругом. Мы читали с ней когда-то русские романы о лишних людях. Она – лишняя женщина. Я больше так не могу. Я принадлежу жизни, а жизнь принадлежит мне. Я должен отречься от Лидии. Так больно и горько мне еще никогда в жизни не было".

Тогда же из Москвы он отослал ей письмо, в котором говорил, что хочет прекратить с ней отношения: "Лидия, я в отчаянии. Я должен отпустить тебя и идти своим путем. У нас нет будущего. Я здоровый, еще не старый мужчина, я хочу свой дом, очаг, уют, семью. Я хочу вечерами приходить домой. У нас этого с тобой никогда не будет. Мы должны отпустить друг друга".

Брупбахер просит ее о разводе. Она соглашается, но продолжает ему писать, потому что эта переписка – последнее, что у нее осталось в жизни: этот удар для Лидии совпал еще с одним ударом судьбы, от которого она уже не смогла оправиться.

В Пинеге стало известно, что Бурцев за границей распространил письмо, в котором обвинял Кочеткову в том, что она являлась провокатором и работала на царскую охранку.

"Я могу думать теперь только о подлости людей, – делится она с Брупбахером своим отчаянием. – От врагов я бы выдержала все. Но принять такой удар от своих? Я думала, что обрела среди моих товарищей семью, а обрела предательство, клевету. Вся моя жизнь разрушена, все, что было свято, – оплевано, испоганено. Душу будто истоптали, изгадили. Не могу жить. Не хочу. Мне не во что больше верить. Я не хочу и не могу больше жить".

Лидия умоляет бывшего мужа связаться в Париже с Бурцевым и прояснить это чудовищное недоразумение. Брупбахер написал тому письмо, но ответил ли Бурцев, неизвестно.

Она чувствует себя затравленной: "Меня сторонятся, как прокаженной. Все ссыльные отвернулись от меня. Кругом только презрение, больше ничего. И еще ненависть. Разве можно жить, когда тебя все ненавидят? А может, эта ненависть – наказание мне за мою ненависть, которую я испытывала в жизни к врагам. А теперь я для моих товарищей сама – враг. Что делать? Всем все простить? Не могу, не могу. И сил в душе нет ни на прощение, ни на ненависть. Повеситься? Но этим не докажешь свою невиновность".

Лидия навсегда решает порвать с эсеровской партией, которой служила верой и правдой годы.

Из ссылки ей некуда возвращаться. Дома у нее нет. Нигде ее не ждут. В 1911 году она приезжает из Пинеги в Москву и

останавливается у своего брата Вячеслава, с которым когда-то разорвала все отношения. Там же живет и их мать.

Лидия по-прежнему пишет в Цюрих, и письма эти полны отчаяния.

В каждом письме теперь она будто подводит итоги своего существования:

“Жизнь проходит, а я все еще не знаю, для чего я пришла в этот мир. Ни единый человек от меня ничего не получил. Я никчемная. Я потеряла веру в саму себя. Среди людей не нахожу себе места. Даже среди самых близких. С мамой мы ругаемся уже с утра. И с братом. И с его женой. Особенно обидно из-за мамы. Между нашими душами нет никакого мостика, ни даже тоненькой жердочки. Одиночество. И старость. Мне сорок, а я выгляжу на шестьдесят. Ей шестьдесят, а она выглядит на все восемьдесят. Как чудовищно вдруг осознавать, что у нее хотя бы есть я и Вячеслав, пусть далекие, пусть совсем чужие, но собственные дети. А что и кто есть у меня? У меня нет и не будет больше никого. Единственное мое желание – уползти куда-нибудь подальше от людей и тихо там сдохнуть”.

В другом письме, отправленном осенью 1913 года, она пытается разобраться со своим прошлым, перебирает важные моменты в жизни и опять вспоминает их путешествие в Венецию: “Сердце мое, я не могу описать тебе мое душевное состояние. Я самый несчастный человек на свете. Раньше я даже не могла себе представить, что человек может быть так несчастен. Единственное, что у меня в жизни было, – это ты, наша любовь. Тот дар, который я в жизни получила и так отвергла его. Тогда, в Венеции, еще все было возможно. Я совершила ошибку. Все, что я предпочла жизни с любимым человеком, оказалось ложью. Все ложь. Великие идеи – ложь. Революция – ложь. Народ – ложь. Все красивые слова – ложь, ложь, ложь. Но я никого не виню. В моей загубленной жизни виновата только я сама. Тогда, в Венеции, все можно было еще изменить. Или уже нет? Не знаю. Я ничего больше в этой жизни не знаю. Меня больше нет. Чем скорее я умру, тем лучше. Тело еще тащится куда-то по инерции, а души внутри уже нет, она давно умерла. Знаешь, какой теперь у меня идеал в жизни? Исчезнуть тихо, незаметно, так, чтобы даже не оставить после себя трупа”.

Какое-то время она еще продолжала писать ему, но он почти не отвечал. Похоже, эти письма – все, что у нее оставалось в жизни.

Их переписка оборвалась во время Первой мировой войны.

О смерти Лидии Петровны Кочетковой ничего неизвестно.

Из последнего сохранившегося письма:

“Сердце мое! Знаешь, о чем я жалею больше всего на свете? Я ведь могла подарить тебе столько моей нерастраченной любви, а тебе досталась от меня только боль. Прости меня, если сможешь! И сердце разрывается от мысли, что это и было мое высокое предназначение – давать тебе мою ласку и нежность, а я потратила свою никчемную жизнь на какие-то химеры”.

2011

Родина ждет вас!

В Швейцарском государственном киноархиве сохранился уникальный фильм о русских интернированных во время Второй мировой войны. Совсем короткий, десять минут. Документальные кадры, снятые летом 1945 года. Русская речь, русские лица на фоне Альп. Этим кадрам семьдесят лет. Никого из тех людей уже, наверно, давно нет в живых. Они исчезли, и если осталось о них упоминание, то лишь в сухих архивных документах. Но включается проектор, и вдруг вот они восстают из небытия, снова молодые, улыбаются, поют, пляшут вприсядку, чистят картошку, работают в поле, отдыхают на траве, живые, полные сил и будущего.

Во время войны русские военнопленные бежали из Германии в Швейцарию. Вплавь через Рейн и Боденское озеро. Сколько из них погибло, так и не добравшись до швейцарского берега, никто никогда не узнает. Зимой 1942-го несколько обмороженных трупов советских военнопленных подобрали местные жители и похоронили на кладбище.

Но и добраться живым до берега ничего не значило. Швейцарская граница была на замке. У пограничников был приказ выдавать беженцев обратно. Известны случаи, когда швейцарских солдат и офицеров наказывали за невыполнение этого приказа.

Количество советских военнопленных, бежавших из Германии, увеличивалось, и швейцарские власти стали собирать их в лагеря для интернированных. Первые официальные сведения относятся к сентябрю 1942 года – 36 бывших советских офицеров и солдат попросили убежища в Швейцарии. С англичанами, американцами ситуация была проще, но Советский Союз не подписал Гаагскую декларацию прав военнопленных, и к тому же между Швейцарией и Советским Союзом не было дипломатических отношений. В отношении советских граждан, попавших в плен, на родине действовал принцип: “У нас нет пленных, только дезертиры”. Тем не менее Швейцария проявила добрую волю и стала принимать советских военнопленных. Тысячи русских людей, оказавшихся тогда в Швейцарии, – это тысячи спасенных жизней.

Первую группу бывших советских военнопленных отправили в декабре 1942 года в лагерь Андельфинген (*Andelfingen*) в кантоне Цюрих. 1 августа 1944 года в Швейцарии было уже 900 русских интернированных, и их количество все увеличивалось. После трехнедельного карантина людей размещали по лагерям,

разбросанным по всей Швейцарии. Лагеря назывались по ближайшему населенному пункту.

Интернированных размещали чаще всего в бараках, в которых раньше жили швейцарцы, призванные на военные сборы. Рядовые военнопленные привлекались к работам: ремонтировали дороги, рыли дренажные канавы, помогали в крестьянских хозяйствах. Зарабатывали по 2 франка в день, что соответствовало расценкам для сезонных рабочих-швейцарцев. Лагеря постоянно инспектировали и швейцарские власти, в том числе члены парламента, и представители Красного Креста. Все интернированные проходили в обязательном порядке медицинское обследование. Больных туберкулезом отправляли на лечение в клинику и санаторий в Лейзэн (*Leysin*) в горах над Женевским озером.

Офицеры содержались отдельно, их селили в отелях, они были освобождены от работы. Например, в курортном местечке Бэн де Л'Алья (*Bains de l'Alliaz*) в горах над Монтрё жили в местной гостинице 34 советских офицера. Они жаловались на отдаленность и скуку, вследствие чего в июне 1944 года их перевели в другой курорт, в Арозу. Другая часть советских офицеров располагалась в лагере в Невиле (*La Neuveville*), также устроенном по типу отеля.

Бывший швейцарский офицер Макс Гигакс (*Max Gygax*) оставил воспоминания о своей встрече с русскими: "Весной 1945 года я служил в чине старшего лейтенанта и получил возможность поближе познакомиться с двумя русскими офицерами, которые бежали в Швейцарию из германского плена. Мне поручили провести с ними несколько дней и познакомить их, по возможности, с тем, как устроена наша жизнь и швейцарская демократия. Поскольку по-русски я не говорил, мне дали переводчика". Интересно, что переводчиком оказался Грегор Рабинович, выходец из России, известный в то время художник-карикатурист. Многие русские эмигранты, жившие в Швейцарии, добровольно и безвозмездно помогали интернированным соотечественникам, в частности, в качестве переводчиков.

Макс Гигакс вспоминает: "Полковник Иван Сидорчук, командир артиллерийского дивизиона, и командир роты старший лейтенант Александр Михайлов попали в котел под Воронежем и оказались в плену с большей частью их армейской группировки. После транзитных лагерей для военнопленных их направили на работы в каменоломни недалеко от Штутгарта. О том, что им пришлось пережить в это время, они рассказывали неохотно, было видно, что память об испытаниях, которые им пришлось пережить в плену перед побегом в Швейцарию, была еще жива и

мучила их. Еще больше, чем от постоянного голода, они страдали от унижений. Во время ежедневного марша на работу их даже дети оплевывали и забрасывали грязью. <…> Мы провели вместе два дня в Лангентале (*Langenthal*), что дало мне возможность поближе познакомиться с ними. Вначале оба русских были замкнуты и вели себя очень настороженно. Прежде всего они никак не могли понять, что кругом не немцы, ведь мы говорили с ними на ненавистном им языке. Лед недоверия растаял неожиданно". Русским офицерам показали оружие на складе. "Они увидели наши автоматы и заулыбались: «Это мы знаем!» Там было автоматическое оружие финского образца. Мы тут же решили использовать эту возможность установить более близкий человеческий контакт и устроили на стрельбище за складом соревнование по стрельбе из карабинов. Победа досталась нашему фельдфебелю". Таким удивительным образом между офицерами установились доверительные отношения. "Они задавали нам вопросы о нашей жизни и рассказывали о своих семьях и о пережитом на войне. Их интерес к устройству жизни в Швейцарии был огромным. Об этом говорит, например, такая деталь: Сидорчук провел на вокзале Лангенталя почти два часа, проверяя по расписанию пунктуальность прибытия и отправления поездов, очевидно, он хотел убедиться, не является ли такая плотность и точность движения потемкинской деревней. Привычная нам железнодорожная система произвела на него большое впечатление".

Швейцарец отнесся к поручению познакомить русских с жизнью и бытом швейцарцев со всей ответственностью. "Никогда не забуду нашего посещения крестьянского хозяйства неподалеку от Лангенталя. После того как молодой крестьянин показал нам коровник и провел экскурсию по всей ферме, его жена пригласила нас подкрепиться у них на кухне. Крестьянин достал показать гостям свой карабин с боевым снаряжением, и мы объяснили обоим русским, что у полумиллиона швейцарцев дома в шкафу хранится боевое оружие с боеприпасами, чтобы в случае необходимости провести всеобщую мобилизацию в кратчайшие сроки. Я и сейчас не очень понимаю, поверили они тогда нам или нет. Во всяком случае они недоверчиво качали головами и обменивались между собой комментариями, которые не понимал даже переводчик.

Оба офицера очень хотели узнать, – продолжает мемуарист, – как живут швейцарские рабочие при капиталистической системе. Они с недоверием относились к тому, что мы им показывали. С удивлением осматривали они, например, большой чистый дом рабочего с фарфоровой фабрики, который объяснял им, что это

его собственность. Посмотрев на ванную комнату и опрятную кухню, они сказали, что так могут себе позволить жить только капиталисты, но не рабочие.

Наглядным и совершенно незапланированным уроком демократии стал ежегодный праздник студенческого ферейна "Гельвеция", который состоялся в начале мая в Лангентале. С высокой лестницы отеля "Кройц" мы смотрели на праздничное шествие, и кто же маршировал в голове колонны? Между двумя однокашниками, заломив набок красную студенческую фуражку, шагал бундесрат Штампфли (*Stampfli*) собственной персоной. Я обратил внимание русских на то, что они видят перед собой швейцарского министра экономики, то есть человека в ранге Кагановича или Молотова. Оба застыли с открытыми ртами, потом Сидорчук спросил: а где же его охрана? Мне представилась возможность рассказать поподробнее о наших демократических правилах игры". Урок демократии продолжился в пивной, в которой швейцарский министр пил свое пиво за соседним столом рядом с русскими интернированными.

"Я не знаю, что ждало в будущем Сидорчука и Михайлова, – заключает свои воспоминания Макс Гигакс. – На память от них у меня осталось несколько русских слов в моей записной книжке…"

Офицеров Сидорчука и Михайлова в будущем ждал СМЕРШ.

Были организованы и специальные женские лагеря. С марта до середины сентября 1945-го бывшие угнанные на работы в Германию и бежавшие в Швейцарию женщины жили в отеле "Зонненберг" (*Sonnenberg*) в горах над Люцерном.

В 1945 году июньский номер женского журнала "*Sie Under*" был посвящен русским женщинам – на обложке широко улыбалась русая красавица. Статья озаглавлена "Как живут русские женщины в Швейцарии". На фотографиях, сделанных на просторной террасе отеля высоко над Фирвальдштетским озером, молодые женщины сидят в креслах, вяжут и шьют. Надя из псковского Невеля и Мария из Киева рассказали швейцарскому корреспонденту, как их угнали на работу в Германию и как им удалось бежать в Швейцарию. В Германии им пришлось очень тяжело, а здесь они "как в золотой клетке", и им очень хочется поскорее вернуться домой, на родину.

Русским интернированным помогали разные швейцарские общественные организации, например, "Рабочая взаимопомощь". В феврале 1944 года было основано общество "Швейцария – СССР". Первым президентом был избран юрист Фриц Хееб (*Fritz Heeb*). Спустя много лет он станет адвокатом Александра Солженицына, будет вести дела писателя на Западе. А тогда, во время войны, активисты общества собирали для русских

интернированных одежду, передавали в лагеря библиотечки русских книг, музыкальные инструменты, пластинки, устраивали просмотры советских кинофильмов, распространяли сводки Совинформбюро. Общество организовало в Цюрихе “Неделю советского кино” – все доходы от билетов пошли на нужды интернированных. В лагерях предлагали курсы немецкого языка. Так, в Андельфингене сначала записались 38 человек, однако уже через неделю курсы пришлось отменить, потому что на занятия не пришел никто.

Интересные воспоминания о своих посещениях русских лагерей в составе комиссии Красного Креста оставил Владимир Соколин, бывший советский дипломат при Лиге Наций, ставший “невозвращенцем” в Швейцарии и работавший в Красном Кресте. Записи его рассказов сделал журналист Оливье Грива (*Olivier Grivat*), написавший исследование о лагерях интернированных в Швейцарии. Так, в ноябре 1943 года Соколин с женой посещают лагерь в Рароне (*Raron*) и попадают на торжественное собрание, посвященное советскому национальному празднику.

“В зале, украшенном красными флагами, висят портреты Ленина и Сталина, герб Советского Союза. Один интернированный поднимается и предлагает избрать почетный президиум:

– Товарища Сталина!

Все в зале поднимаются и аплодируют.

– Товарища Молотова!

Аплодисменты. Все стоят, как по команде.

– Товарища Калинина!

Называется еще дюжина имен, после этого студент по фамилии Поляков говорит об историческом значении русской революции, а также благодарит швейцарские власти за предоставление убежища и Красный Крест за подарки, которые будут раздаваться после собрания: пачки сигарет. Интернированный Кирбицкий говорит об успехах, достигнутых СССР. Третий докладчик прославляет Красную армию. Все поднимаются и поют «Интернационал». После этого концерт – русские песни и пляски, декламируют стихи. После концерта нас приглашают разделить их ужин – макароны, гуляш, картошка”.

Разумеется, не обходилось и без эксцессов, недоразумений, трагических случаев.

Швейцарские власти постоянно получали от населения жалобы на воровство: русские интернированные крали в окрестных селениях продукты, вещи, деньги.

Несколько русских погибли. Каждый из таких случаев расследовался швейцарскими властями. Вот, например, история

Назара Кисилева, застреленного швейцарским военнослужащим 16 января 1944 года. Подробный отчет о расследовании от 30 марта того же года описывает события следующим образом: “В воскресенье, 16.01.1944 русским интернированным лагеря Ле Шалюэ (*Le Chaluet*) была предоставлена возможность посмотреть в кинотеатре города Мутье (*Moutier*) кинофильм «Суворов». После возвращения в Кур (*Court*) около 16:00 русским было предоставлено свободное время до 21:45. <…> Около 22:30 с охраной лагеря Ле Шалюэ по телефону связалась хозяйка ресторана «Де ля гар» и сообщила, что у нее до сих пор находится пьяный интернированный. Начальник охраны лагеря Гроссенбахер (*Grossenbacher*), вооруженный автоматическим оружием, сразу отправился на велосипеде в направлении Кура. Примерно на полпути между Ле Шалюэ и Куром он встретил русского, который назвался интернированным Кисилевым”. Представитель порядка потребовал документы, Кисилев сначала отказывался предъявить свой “аусвайс”, потом, когда начальник охраны забрал у него бумаги, попытался силой отобрать их обратно. Швейцарец, следуя требованиям устава, предупредил, что будет стрелять, пьяный сбил его с велосипеда. Началась драка, охранник выстрелил. Следствие признало действия Гроссбахера правомерными в связи с невыполнением интернированным требований охраны.

Не обошлось без жертв и в лагере Ваувилермос (*Wauwilermoos*). Это был лагерь строгого режима для интернированных, совершивших какие-либо правонарушения. Там накануне дня Красной армии 22 февраля 1944 года в бараке номер 29 русские устроили массовую драку. Когда полицейские попытались навести порядок, в них полетели поленья, пустые бутылки, кружки, стулья. Охране пришлось сделать несколько выстрелов. Погиб двадцатисемилетний Михаил Кондратьев.

По всем подобным случаям проводились расследования, результаты становились достоянием общественности, виновные подвергались наказаниям. Например, коменданта штрафного лагеря Ваувилермос обвинили в присвоении части денег, полагавшихся интернированным, за что он и был наказан. Особенно газеты возмущались тем, что он оставил у себя 200 неотправленных писем своих подопечных.

Около ста бывших русских военнопленных были размещены в лагере в Андельфингене, где они занимались раскорчевкой и строительством дороги. На карманные расходы они получали по 20 франков ежемесячно, к их услугам была библиотека, радио, музыкальные инструменты, показывались советские фильмы, устраивались экскурсии в Цюрих, в музеи, зоопарк, на озеро.

Регина Кэги-Фуксман (*Regina Kägi-Fuchsmann*) работала в лагере уполномоченной швейцарской организации помощи беженцам. Она тоже оставила воспоминания. “Русские попросили разрешения у центрального управления лагерем не работать в день Красной армии, который считается в Советской России главным праздником, и устроить концерт в гастхофе в Андельфингене, ближайшей к лагерю деревне. Они хотели пригласить тех, кто занимался вопросами беженцев, жителей деревни и своих воскресных друзей из Цюриха”. Просьба русских была удовлетворена, за исключением того, что до обеда они от работ не освобождались, что обусловливалось всеобщей трудовой повинностью для всех швейцарцев даже в их национальные праздники. “Русские заявили, что в этом случае они вообще отказываются выступать и не выйдут на работу, так как это их национальный праздник. Руководство лагеря вызвало военную полицию и издало строгий приказ приступить к работе. <…> В назначенный день интернированные появились на завтраке в выходной одежде и отказались выйти на работу. После обеда русские построились в колонну по четыре и отправились строем из лагеря в деревню, дошли до гастхофа, где должен был состояться концерт, развернулись и двинулись маршем обратно в лагерь”. Напряжение нарастало. Полученный на обед шпинат сыграл роль детонатора. “Все тарелки со шпинатом они повыбрасывали в окно столовой. Шпинатом, вероятно, в России кормят свиней, и русские чувствовали себя оскорбленными в своей чести советского солдата”. Интернированные отказались вообще выходить на работу и объявили голодную забастовку. “Лагерь был окружен солдатами, против русских выставили пулеметы”. Несколько человек были арестованы, лагерь расформировали, большинство отправили в другой лагерь в горном отдаленном Рароне.

Основная волна бывших советских военнопленных и остарбайтеров пришлась на конец апреля 1945 года. На юге Германии царил хаос, французские войска занимали города, не встречая какого-либо сопротивления. За несколько последних дней войны только по мосту через Рейн в Рейнфельдене (*Rheinfelden*) швейцарскую границу пересекли среди тысяч зарегистрированных беженцев 2602 русских. Всего за последний месяц войны на территорию альпийской республики бежали 8000 русских военнопленных.

Справиться с таким наплывом беженцев поначалу было невозможно – например, в Лозанне 1700 русских интернированных провели целый месяц карантина с конца апреля 1945-го в огромных залах выставочного комплекса Пале де Болье

(*Palais de Beaulieu*) на соломенных тюфяках без постелей, о чем с возмущением писали местные газеты. После этого бывших советских военнопленных распределили по лагерям.

Лагеря к этому времени начинали освобождаться – в январе Швейцарию покинули интернированные греки, с февраля началась репатриация американцев и англичан. Война закончилась, люди, заброшенные военной судьбой в Швейцарию, что спасло им жизнь, спешили вернуться домой.

27 июля 1945 года в Берн прибыла советская репатриационная комиссия во главе с генерал-майором Александром Вихоревым. Советская делегация посещала лагеря интернированных, каждому вручили брошюру под названием “Родина ждет вас, товарищи”.

Генерал-майора Вихорева запечатлели швейцарские документалисты. Молодой, пухлый, лоснящийся. Наверно, в войсках НКВД в войну хорошо кормили. Вихорев беседует с обступившими его бывшими советскими военнопленными, которые теперь одеты в американскую форму – светлые рубашки, галстуки, темные брюки. Его слушают внимательно. Слышат то, что хотят услышать: Родина ждет вас, товарищи!

Они понимали, что с ними будет?

Эти люди не могли не помнить слов Молотова о том, что в СССР нет военнопленных, а есть одни дезертиры, не могли не знать приказа Ставки № 270 от 16 августа 1941 года, по которому все советские солдаты, сдавшиеся в плен, заочно приговаривались к расстрелу, а их семьи подлежали аресту. Однако к концу войны в официальной риторике зазвучали совсем другие ноты. В 1944 году было создано Управление Уполномоченного Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР по делам репатриации, и возглавил это ведомство генерал-полковник Ф. И. Голиков, бывший руководитель советской военной разведки.

11 ноября 1944 года “Правда” опубликовала интервью с Голиковым, в котором говорилось: “Люди, враждебно настроенные к Советскому государству, пытаются обманом, провокацией и т. п. отравить сознание наших граждан и заставить их поверить чудовищной лжи, будто бы Советская Родина забыла их, отреклась от них и не считает их больше советскими гражданами. Эти люди запугивают наших соотечественников тем, что в случае возвращения их на Родину они будто бы подвергнутся репрессиям. Излишне опровергать такие нелепости. Советская страна помнит и заботится о своих гражданах, попавших в немецкое рабство. Они будут приняты дома как сыны Родины. В советских кругах считают, что даже те из советских граждан, которые под германским насилием и террором

совершили действия, противные интересам СССР, не будут привлечены к ответственности, если они станут честно выполнять свой долг по возвращении на Родину".

Также советским интернированным в лагерях раздавали указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. "Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией". Военнопленные объявлялись неподсудными за попадание живыми в плен.

Люди верят в то, во что хотят верить.

Все без исключения репатриированные отправлялись в фильтрационные лагеря. Проверка бывших военнослужащих Красной армии была возложена на органы СМЕРШ. Гражданских лиц проверяли комиссии из представителей НКВД, НКГБ и СМЕРШ под председательством представителя НКВД.

У каждого из них была возможность не покидать Швейцарию. Те, кто не хотел возвращаться, подали заявление о политическом убежище. Им всем предоставили возможность остаться на Западе. За этих людей вступились газеты. Официальный Берн несколько раз заявил, что "насильно в вагоны для репатриированных никого не сажают".

Отказались ехать уроженцы прибалтийских стран. Мусульмане из Азербайджана, крымские татары. Казаки. Среди отказавшихся репатриироваться русских было совсем немного. Всего в Швейцарии остались около 850 человек, из них 376 "мусульман" и 292 прибалта. В последующие годы одни переехали в Турцию, другие в Америку.

Остальные вернулись добровольно.

11 августа 1945 года со станции "Санкт-Маргретен" (*St. Margrethen*) на границе с Австрией ушел первый поезд. До 30 августа были отправлены еще 9 поездов. После этого ушло несколько эшелонов с гражданскими лицами.

В исследовании историка Виктора Земскова "Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба" приведены точные цифры: из Швейцарии на 1 марта 1946 года репатриировались всего 9807 человек, из них 6060 военнопленные, 3747 – гражданские. Из гражданских 1710 – мужчины, 1841 – женщины, 196 – дети.

"Этих людей, конечно, беспокоила вероятность того, – пишет Земсков в своей работе, – что в случае возвращения в СССР у них могут быть неприятности по фактам расследования жизни и деятельности за границей, обстоятельств сдачи в плен и т. д., но больше всего их волновала совсем другая проблема: зная о негативном и подозрительном отношении правящих кругов СССР к «иностранщине» и к людям, побывавшим в ней, они опасались,

что Советское правительство не разрешит им вернуться на Родину. Большинство советских перемещенных лиц боялось не того, что им не разрешат остаться на Западе, а того, что им не разрешат вернуться в Советский Союз".

Не обошлось и без мелодраматической истории. В сентябре 1945 года в Кирхберге (*Kirchberg*) под Берном один из советских интернированных, лейтенант Глушков, пришел накануне своего отправления на родину в кафе и после долгого разговора убил выстрелом из пистолета девушку – дочь хозяина ресторана. Потом выстрелил себе в грудь. Что за история любви между юной швейцаркой и молодым советским офицером привела к такой развязке? Это останется тайной тех двоих. Из документов известно лишь, что советской делегации пришлось приносить официальные извинения и соболезнования родственникам убитой.

Среди тех, кто не хотел возвращаться, были военный инженер Владимир Новиков и военный пилот Геннадий Кочетов. В отличие от других "невозвращенцев", этих двух родина хотела вернуть во что бы то ни стало. Новиков был специалистом высокого класса, разработчиком ракетных систем. Ему было тридцать четыре года. Кочетов, двадцатитрехлетний боевой летчик, совершил побег в Швейцарию уже по окончании войны. 25 августа 1945 года на военном аэродроме Дюбендорф (*Dübendorf*), расположенном недалеко от Цюриха, приземлился советский истребитель Як-9. Пилот попросил о предоставлении ему политического убежища.

На требования советских представителей выдать Кочетова швейцарские власти согласились вернуть самолет, но отказались выдавать летчика, сославшись на традиционные для швейцарской демократии принципы. Федеральный совет в официальном отказе указал на то, что сами эти люди отказываются возвращаться, а их насильственная выдача была бы нарушением гуманитарного права.

Тогда Советский Союз сделал демократической Швейцарии такое предложение, от которого та не смогла отказаться.

Специальные группы НКВД взяли в заложники пятерых швейцарских дипломатов. Харальд Феллер (*Harald Feller*) и Макс Майер (*Max Meier*) были арестованы в Будапеште – таким же образом до этого там "пропал" знаменитый шведский дипломат Рауль Валленберг, спасавший венгерских евреев во время войны. Оба швейцарца должны были разделить судьбу их коллеги, исчезнувшего в ГУЛАГе. Еще два швейцарских консульских работника был похищены в зоне советской оккупации в Восточной Пруссии и еще один в Маньчжурии, в Харбине.

В последний день своего пребывания в Швейцарии, 29 декабря 1945 года, руководитель советской репатриационной комиссии генерал-майор Вихорев сделал заявление швейцарской стороне о готовности обменять Новикова и Кочетова на швейцарских дипломатов.

Тактика захвата заложников себя оправдала. Срочно собранный Федеральный совет заседал недолго. Речь шла уже о спасении жизни швейцарских граждан. Новиков и Кочетов были выданы в тот же день и улетели на одном самолете с советской репатриационной комиссией. Швейцарских дипломатов освободили через несколько недель. Это было началом восстановления дипломатических отношений между нашими странами в 1946 году.

Кочетова расстреляли. Новиков продолжил труд ракетного конструктора за колючей проволокой на “шарашке”.

Советская репатриационная комиссия в составе шестерых офицеров под командованием генерал-майора в течение полугода проживала в лучшей гостинице Берна Бельвю-Палас (*Bellevue Palace*). Швейцарцы не были бы швейцарцами, если бы не представили советской делегации счет отеля на сумму 56 379,45 шв. франков. Астрономическая по тем временам сумма вышла из-за того, что основные расходы, как скрупулезно указывается в счетах, пришлись на самые дорогие вина, которые заказывались в огромном количестве. Члены советской делегации были уверены, что их угощает принимающая сторона.

Заключительные кадры фильма о русских интернированных в Швейцарии сняты на станции “Санкт-Маргретен”. Прощальный митинг на швейцарской территории перед посадкой на поезд. Около железнодорожных путей на откосе сидят сотни бывших советских военнопленных. Выглядят они странно, потому что все одеты в американские форменные гимнастерки и брюки, на ногах – крепкие ботинки, на головах – пилотки. На возвышении перед ними импровизированная трибуна. Огромный портрет Сталина. Оратор, майор НКВД, кричит про победу, про родину. “Товарищи! Сейчас вы отправитесь домой, в Советский Союз!” Все аплодируют, кричат “ура!” “Мы победили благодаря тому, что Советский Союз вел к победе мудрейший из мудрейших вождей…” Снова крики “ура!”, все вскакивают, бесконечный гром аплодисментов.

Напоследок, на дорожку, все хором поют “По долинам и по взгорьям”. “Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда …”

Начинается посадка. Вагоны украшены красными флагами, лозунгами: “Домой!” “Здравствуй, Родина!” Из окон выглядывают

радостные лица. Машут руками, кричат “Победа”!

Они чувствовали себя победителями. Победить в войне – это остаться живым.

Кэги-Фуксман: “Одна милая медсестра во время подготовки к отъезду пару недель жила у меня. Она сказала мне: «Мы все погибнем. Россия не может себе позволить снова принять так много людей, которые увидели Запад. Если я буду жива, я вам напишу». Я получила из Зальцбурга открытку без подписи: «Прощайте!» Больше я от нее никогда ничего не слышала”.

2014

Вальзер и Томцак [2]

Конечно же, он хотел и читателей, и признания. Он был писателем, а не святым.

Чтобы стать собой, ему сперва нужно было отсечь чужое – театр.

Первое произведение писателя – он сам. Так от глыбы мрамора нужно отсечь все лишнее, чтобы появился мальчик, вынимающий занозу. Мальчик всегда уже в этой глыбе был.

Подмостки еще кажутся ему призванием. Он знает все шиллеровские монологи наизусть, но зеркало – неблагодарный зритель и удачно отражает лишь поклоны. Шаг на сцену кажется шагом в правильный искомый мир, где вымысел становится жизнью, где затаивший дыхание зал внимает каждому твоему слову, где можно играть в прятки, быть любым, героем или злодеем, где шквал оваций заменяет поиски смысла, где мертвые, когда падает занавес, выходят кланяться, умерев по-настоящему и по-настоящему воскреснув.

У него ломкий неуверенный голос – и останется таким на всю жизнь.

От театра его спасает проезжая знаменитость, покорившая все столицы мира, в том числе и Петербург. Великий Йозеф Кайнц встречает семнадцатилетнего юношу, говорящего со смешным швейцарским акцентом, лежа на оттоманке. Недослушав монолог до конца, носком домашней туфли вершитель судьбы дает понять, что аудиенция закончена.

Роберт Отто Вальзер был плохим актером.

Вскоре он напишет сестре: “Из моего актерства ничего не вышло, и Бог хочет, чтобы я стал великим писателем”.

Книги растут из детства.

Отец – неудачник. Считал себя дельцом, но все коммерческие начинания кончались безденежьем, а в семье родились восемь детей, всех нужно прокормить, всем нужно дать образование. Переплетная мастерская, лавка канцелярских принадлежностей и игрушек – всё прогорает. Семья стремительно опускается по социальной лестнице в городке Биле, стремительно расцветающем на исходе XIX столетия. О будущем еще никто ничего не знает. Кроме писателя. Но об этом позже.

Роберту двенадцать, когда мать сходит с ума. Она в доме, но куда-то ушла от детей и мужа, оставив им только свое тело, стареющее и одновременно вернувшееся в детство. Старшая

сестра Лиза ведет хозяйство, заботится о детях и ухаживает за матерью, которая ест, пьет и ходит под себя. За обедом она вдруг может начать бросаться ложками и вилками.

Для получения образования нет денег. В четырнадцать он оставляет школу, отец устраивает его в местное отделение Бернского кантонального банка. У подростка красивый почерк. Нужно зарабатывать на пропитание для большой семьи. Вальзер больше ничему нигде не будет учиться – только читать.

Мать умирает, когда ему шестнадцать. Дома его ничто не держит, да это и не дом, а место, где проживают вместе очень разные и чужие люди. Вальзер всю жизнь будет тосковать по семье, которой у него не было. Один из его первых рассказов о том, как мальчик пускает шляпу плавать в пруду и прячется, чтобы все домашние подумали, что он утонул. Ему важно, чтобы его искали и нашли, чтобы кто-то был счастлив от того, что он жив, что он просто есть на этой земле.

“Они все появляются из самых разных направлений, некоторые даже приезжают по железной дороге из отдаленных мест, терпеливые, как стадо баранов, а вечером снова расходятся каждый в свою сторону, чтобы утром, ровно в то же время, опять собраться всем вместе. Все похожи на всех, но все друг другу чужие, и если один из них умирает или кого-то ловят на растрате, то до обеда их это занимает, а потом все идет своим чередом”. Это из романа “Семейство Таннер”. Больше всего на свете Вальзер не хочет быть одним из них. Он один из них.

Это его университеты. И его театр. Он работает во множестве мест, примеряя всякий раз новую службу, как роль. Маска одна и та же. Хочешь чего-то в этой жизни добиться – нужно научиться быть слугой.

Его жизнь в эти годы напоминает игру актера, он будто гастролирует, входит в один и тот же образ на разных подмостках. Неудачные актеры на сцене обычно прекрасно актерствуют в жизни. Вальзер снова и снова играет маленькое колесико гигантской машины, вживается в образ. Но в любую минуту готов выйти из роли и сойти со сцены. Отойти в сторону.

Он работает мелким служащим, клерком в банках, страховых агентствах, юридических конторах, агентствах по найму безработных, на пивоваренном заводе, в издательстве, на фабрике швейных машинок. Его берут из-за почерка. Он уходит с каждого места работы через пару месяцев. Он ненавидит свою службу. Такие не делают карьеры.

Вальзер был плохим служащим. И мечтал он совсем о другой карьере.

Только в Цюрихе за десять лет он девять раз меняет работу и переезжает семнадцать раз. Молодой человек неуживчив. Или ищет что-то? Или бежит от себя? Или меняется? Становится собой? Переезд – это возможность окружающего мира нагнать тебя уже другого, изменившегося.

В своем дневнике Макс Фриш рассказывает, как Вальзер встретился с Лениным в Цюрихе и спросил его: “Вам тоже нравится гларнский бирнброт?”

Бирнброт – пирог с начинкой из груши. Писатель и палач жили по соседству на одной улице Шпигельгассе, один в доме № 23, другой в № 14, но с разницей в несколько лет. Эта встреча и разговор – придумка Фриша. Их миры не соприкасались, и даже по узкому переулку они проходили сквозь друг друга. Но оба знали, что призваны что-то сделать с этим постылым и неправильным устройством жизни. Шагая по брусчатке Шпигельгассе, они были еще никем. Нет, не так. Не подписавший пока первый приказ о расстреле заложников убийца еще не убийца, а просто человек, прохожий. Не написавший еще ни одной книги писатель уже писатель. На Шпигельгассе не встретились прохожий и писатель.

В Цюрихе рождаются его первые произведения. Через много лет он напишет о себе в третьем лице короткую “Биографию” и в ней коснется своих ранних текстов: “Причем следует добавить, что он писал их не между делом, а всякий раз бросал именно для этого место службы, ибо верил, что искусство есть что-то великое. Писательство было для него действительно делом почти священным. Пусть это кому-то покажется чрезмерным. Когда сбережения заканчивались, он снова устраивался на подходящую работу”.

По жизни Вальзер – неудачник. По жизни мелкого служащего, которую он ведет для окружающих. Клерк-неудачник.

Он устраивается только на те скучные работы, где нужно иметь дело не с людьми, а с бумагами. Ему приятнее быть наедине с чернильницами, перьями, пресс-папье. Молодой швейцарец натягивает на себя старую уютную шинель Акакия Акакиевича. “Настоящим довожу до Вашего сведения”.

Он переписывает набело каллиграфическим почерком бесконечную безличную корреспонденцию и несметные счета, впитывая в себя канцеляризмы, презирая содержание и отдавая любовь буквам. Далекий от литературы побочный заработок переписчика кажется ему досадной потерей времени, но именно залежи дохлых штампов великого и могучего немецкого канцелярита станут его золотой жилой в прозе.

Самое тяжелое испытание в писательской судьбе – слишком ранний успех. Сколько талантливых юношей и девушек бесследно исчезли из литературы после шума вокруг первой книги, использованные и выброшенные за ненадобностью на помойку. Успех приходит к Вальзеру сразу же после первых публикаций. Но успех какой-то странный, который будет преследовать его всю жизнь: восторг пишущих ценителей и полное пренебрежение читающей публики.

Ему двадцать лет. Первая публикация стихов в бернской газете *“Der Bund”* сразу привлекает внимание. Его зовут печататься в самый модный литературный журнал того времени *“Die Insel”*. Вальзера приглашают влиятельные литературные салоны культурных столиц Германии – Мюнхена и Берлина. Для молодого писателя начинается испытание литературной богемой.

Издатели ждут от него рукописи. О чем еще можно мечтать молодому автору? Отныне Вальзер решает зарабатывать деньги только своим призванием – писательством. Ему пишется легко. Его тексты не знают черновиков. Он публикует стихи, романы, рассказы, “драмолеты”. Каждую публикацию встречают удивленные и восторженные рецензии. Но продаж нет. За свою первую книгу “Сочинения Фрица Кохера” гонорара он не получил – издательство пообещало заплатить 100 марок после покрытия расходов на печать. Через несколько месяцев после выхода книги Вальзер пишет издателю письмо с просьбой о высылке обещанной суммы. Получает ответ, что из 1300 напечатанных экземпляров проданы 47.

Швейцария – провинция. Трижды провинция трех великих культур. Негласный закон гельветических литераторов: швейцарский писатель, если хочет чего-то добиться, должен завоевать заграничные столицы. Вальзер едет завоевывать Берлин.

Тень брата. Роберт с Карлом погодки. Роберт родился в 1878 году, Карл на год старше. Старший брат уже шесть лет в Берлине, он – преуспевающий театральный художник, о его постановках говорит весь Берлин. Ему заказывают фрески в домах высшего общества. Издатели платят огромные деньги за его иллюстрации. Он входит в моду. Ему открыты богемные салоны. Его любят женщины. Он умеет общаться с важными людьми. Он был хорошим завоевателем.

Младший всюду следует за старшим – в 1895 году был Штутгарт, где Карл учился на театрального декоратора, теперь, в 1905-м, Берлин. Город принадлежит старшему брату и тот щедро

делится им с младшим – устраивает нужные знакомства среди издателей и меценатов, театрального и литературного высшего света. Роберт живет у брата в трехкомнатном ателье в Шарлоттенбурге и следит за его кошкой, когда хозяин в разъездах. Их иногда принимают за близнецов – не по лицу, но по поведению, жестам, манерам. Их разделяет главное: один умеет почувствовать и уловить вкусы публики, другой – нет. Не умеет и не хочет уметь. Он был плохим завоевателем.

В Берлине Вальзер пишет и публикует один за другим три романа: “Семейство Таннер” (*Geschwister Tanner,* 1907), “Помощник” (*Der Gehülfe,* 1908) и “Якоб фон Гунтен” (*Jakob von Gunten,* 1909). С первыми успехами он получил в литературном мире огромный кредит доверия, но с каждой нераспроданной книгой этот кредит тает все скорее. Его последний опубликованный и лучший роман – самый провальный. Тексты Вальзера вызывают восторг у немногих, среди его почитателей Гессе, Музиль. Но все же книги падают в пустоту. Они обманывают привычные ожидания читателей, потому что ни на что не похожи.

У Вальзера в то время и не может быть читателя. Открыв его свеженапечатанную книгу в начале прошлого столетия, нельзя не почувствовать подвох. Почва канона уходит из-под ног. Мир прозы идет вразнос. Привычные опоры литературы превращаются в труху. Жанр объявляется, как король, – голым. Взаимодействие персонажей и событий начинает происходить по другим, еще не открытым законам. Сюжет перестает быть сюжетом, повествователь – повествователем. Диалог не совсем диалог. Роман – не-роман.

Его тексты вроде бы авангард нарождающегося авангарда, из них один прыжок до дада, до сюрреализма. Но авангард Вальзера какой-то неавангардный – в его прозе слишком много живой души, у нее температура здорового человеческого тела.

Календарь уже перенес читателей его первых романов в двадцатый век, но ожидания от читаемого еще только выползают из девятнадцатого. В литературе Вальзер перепрыгнул сразу через две ступеньки и оказался в одиночестве.

С каждой книгой Вальзер уходит от читателя все дальше к себе настоящему. Рождается неповторимый, сразу узнаваемый стиль, его слова дышат странной смесью невероятной свободы и спертого воздуха канцелярии.

Писатель в начале своего становления состоит из прочитанного. В те годы Манн, Гессе, Джойс зачитываются русскими. В Берлине Вальзер знакомится с Фегой Фриш,

переводчицей Толстого, Достоевского, Гончарова, Чехова. Поколения немцев будут узнавать русскую классику по ее переводам. Она публикуется в том же издательстве Кассирера, в котором выходят книги Вальзера. Увлечение русскими в то время – поветрие. Поэт и редактор текстов Вальзера, горячий его поклонник Кристиан Моргенштерн пишет издателю Бруно Кассиреру: “Когда я читал о Симоне, я все время думал об Алеше Карамазове. Вообще «Семейство Таннер» больше русская книга, чем немецкая”.

В книгах Вальзера постоянно будут встречаться отсылки к русским писателям, особенно к Достоевскому. Например, в “Разбойнике”, позднем и незаконченном романе, его герой упомянет “Униженных и оскорбленных”, спутав при этом Валковского с Вронским. Мышкин и Аглая появятся в последней его опубликованной книге “Роза”. Но все это остается внешним, поверхностным. Он читал русских, но они на него вовсе не повлияли. На него вообще никто по большому счету не повлиял, хотя сам он называл своими любимыми Сервантеса, Жан-Поля, Стендаля. Есть писатели, которые возникают просто из языка, непорочным зачатием. Если искать Вальзеру соответствия среди русских – это Платонов. Таких писателей порождает сам язык – полуграмотная риторика расстрельных приказов или гирлянды конторского волапюка, не имеет значения. Такие писатели – ни в мать, ни в отца, а подкидыши языка.

Зато повлиял Вальзер.

Макс Брод о Кафке: “Иногда он неожиданно врывался в мою квартиру, чтобы поделиться со мной своим открытием чего-то нового, грандиозного. Так было с романом-дневником Вальзера «Якоб фон Гунтен», так было и с прозаическими миниатюрами Вальзера, которые он невероятно любил. Я помню, с каким заразительным весельем, с каким восторгом и как сочно он читал вслух рассказик Вальзера «У горных круч» (“*Gebirgshallen*”). Мы были вдвоем, но он читал так, как если бы перед ним сидели сотни слушателей. Иногда он прерывался: «А теперь вот послушай, что будет!» Некоторые словесные обороты он смаковал, повторяя их с радостью по несколько раз. <…> Подолгу останавливаясь на деталях, он добрался до конца рассказа и заявил: «Ну, а теперь послушай все целиком!» На этот раз он читал, не прерываясь. Он намеревался повторить чтение и в третий раз”.

Жутковатая герметичность пансиона Беньяменты в “Якобе фон Гунтене” выводит литературу в другое измерение. Замкнутое, неуютно живое, вывернутое наизнанку пространство, созданное Вальзером, отправляется основать свою колонию в

прозу Кафки.

Есть писательство здоровое и больное. Здоровое писательство – профессия, способ заработка пером. Предложение своего таланта и мастерства на рынке услуг. Кто-то зарабатывает педикюром, кто-то принимает роды, кто-то пишет книги. Нужно просто следовать потребностям потребителя. Быть чувствительным к запросам читателей и книгопродавцев. Писательство как обслуга.

Его писательство – болезнь. Писание как невозможность иным способом справиться с реальностью.

Для него писание – единственный способ проживать жизнь. Уже в двадцать два года в “Поэте” он пишет о жизненной потребности давать чувствам выход в слове: “Что мне делать с моими переживаниями, я не могу смотреть, как они беспомощно трепыхаются и умирают в песке языка. Я не смогу жить, если перестану писать”.

В Берлине Вальзер проводит семь лет. Столичная литературная жизнь, манившая издалека, теперь, увиденная с изнанки, отталкивает, вызывает брезгливость. Схватка самолюбий, подковерная борьба амбиций, унизительная снисходительность знаменитостей, железные локти лезущих вперед бездарностей.

Литературный террариум ему отвратителен. У него аллергия на пошлость. Однажды на приеме он громко говорит Гофмансталю: “Неужели вы не можете забыть, хотя бы ненадолго, что вы – знамениты?”

Но в этой выходке чувствуется и привкус прорвавшейся, тщательно скрываемой зависти. Смертный грех писателя – гордыня.

Гордыне можно противопоставить только смирение, умаление себя, скромность до самоуничижения. Отсюда настойчивая идея слуги, которая преследует Вальзера. Однако в его текстах слуга становится метафорой не обслуги, но служения. Его герои хотят служить, а не прислуживать. Писатель – слуга не читающей публики, но своего текста.

В Берлине он ощущает себя в литературной давке, в унизительной и смешной гонке за успехом. Толкучка олимпийцев, в которой он явный аутсайдер, кажется даже не театром, а клоунадой. Он – такой же клоун.

В Берлине Вальзер решается на главный шаг своей жизни. Шаг в сторону.

Теперь он кажется им клоуном. Вальзер подыгрывает. Роль

шута, смеющегося над теми, кто смеется над ним, ему больше по душе. В отличие от них, он свободен. Он может взять и стать *Monsieur Robert*. Пройти школу слуг и отправиться на пару месяцев в замок Дамбрау в Верхней Силезии. Набрать материал для романа, снова бросить все и вернуться в себя.

Его поведение кажется эпатажем даже в глазах тех, кто ему благоволит. Издатель Фишер предлагает отправиться в Польшу и Турцию, чтобы написать книгу репортажей. Ответ Вальзера: “Зачем писателям путешествовать, если у них есть фантазия? Я только что в мыслях провел полчаса в Турции, и мне там было очень скучно”. Бруно Кассирер выписывает Вальзеру чек на большую сумму для многомесячного путешествия в Индию. Тот носит чек долгое время в кармане, будто забыв о нем, потом, будто вспомнив, возвращает. Ему важны только путешествия к самому себе. Не перемещения по глобусу, а проникновение в саму суть человеческого – в процесс творчества. Все его тексты – не просто о “я”, но о “я”, сотворяющем мир.

Идея зарабатывать на жизнь писанием благополучно похоронена. Вальзер получал ежемесячно деньги от издательств в счет гонорара за будущие книги, но после провала “Якоба фон Гунтена” это больше невозможно. Ему хотят помочь, устраивают секретарем в модную художественную галерею *“Berliner Sezession”*. О нем просит сам знаменитый импрессионист Макс Либерманн, возглавляющий объединение берлинских художников, противопоставивших себя академическому искусству. Но долго на этой службе Вальзер не задерживается. Он был плохим секретарем.

В столичную писательскую и художественную среду он явно не вписывается, да и не хочет вписываться. Подчеркивает это даже одеждой, шокируя приличное общество, появляясь в костюме бродяги. Этот образ вагабунда, символ независимости и неприкаянности, срастется с ним, станет писательской кожей. Жена брата Карла дарит Роберту новый костюм, чтобы он не смущал ее гостей своим видом, но тот вскоре приходит снова в старых обносках.

Ему нужно освобождение. От бессмысленности общения с другими писателями. От литературной суеты. От старшего брата.

Отношения с Карлом более чем сложные. В Берлине восхищение сменяется непониманием, близость перерастает в ненависть. Он не может и не хочет больше играть роль брата-неудачника. Выражается это противостояние иногда совсем по-детски. Фега Фриш вспоминает, как Вальзер пришел к ней незадолго до своего отъезда из Берлина с расцарапанным лицом и объяснил, что это их кошка Муши. “Но я думаю, что это братья

хорошенько подрались”.

Шаг в сторону, отказ от участия в общем забеге за успехом, требует внешнего подтверждения. Вальзер должен уехать. Прочь от литераторов – к литературе. Для настоящей работы нужно одиночество. Келья. Его кельей становится Швейцария.

В Берлин приехал двадцатисемилетний автор, подающий надежды и еще ищущий себя. Уезжает перед самой мировой войной писатель Роберт Вальзер, нашедший себя к тридцати пяти. Лучший возраст для писания.

В 1913 году Вальзер приезжает в Биль, в родной город, откуда он уехал когда-то в поисках призвания и признания. Жизненный круг замыкается. Призвание есть, признания нет. Его келья – полупустая холодная каморка под самой крышей в дешевых номерах *“Zum blauen Kreuz”*. В этой мансарде на последнем этаже, где живет обслуга, он проводит следующие восемь лет своей одинокой жизни.

Один из мемуаристов, пастор Эрнст Хубахер, интересовавшийся литературой и приглашавший в свою общину Гренхен выступать таких авторов, как Гессе, описывает жилище Вальзера: “Мне сказали, что тот, кого я ищу, живет на шестом этаже отвратительного обшарпанного заведения, так называемого отеля «У голубого креста». Каморка, чтобы воспользоваться его языком, была обставлена заметным отсутствием мебели. Там стояли только кровать, стол и стул”.

Отсутствие мебели, быта, забот – это то, что Вальзер ищет. Ему нужна свобода от всех потребностей и обязательств. У него обязательства только перед ненаписанным текстом. В этом писательском раю не хватает лишь тепла – не натопленного, от печки, этого тоже нет, но тепла человеческой близости.

Иногда он ходит за 25 километров в Бельлей навестить свою сестру Лизу. Отныне и до самого конца эта женщина будет присутствовать в его жизни и принимать самое непосредственное участие в судьбе.

Ее квартирка становится для него островком детства. Десятилетия исчезают, он снова мальчик, она – строгая и любящая старшая сестра, заменившая ему мать. Лизе к этому времени сорок, она учительница, старая дева с историей несчастной любви. Ее жених, судебный протоколист, не решился сделать ей предложение, сославшись на сумасшествие матери, Элизы Вальзер, – из опасений, что болезнь может оказаться наследственной. Чтобы пережить этот удар, Лиза бросила Швейцарию и уехала на семь лет в Италию, где преподавала в швейцарской школе в Ливорно. Вернувшись на родину за год до

Роберта, она устраивается в Бельлей – сумасшедший дом для неизлечимых, расположенный в бывшем монастыре, – работает в маленькой школе для детей персонала лечебницы. У нее отдельный домик. Наверху маленькая квартирка, внизу классная. Все дети из разных классов занимаются в одной комнате. Едят все вместе в больничной столовой. Иногда из монастырских зарешеченных окон, из беспросветности, доносятся крики, не животные, но и не человеческие.

В Бельлей Вальзер знакомится с подругой сестры, Фридой Мермет, которая работает в лечебнице кастеляншей. Эта женщина, далекая от литературы, одна воспитывающая внебрачного сына, станет странной музой писателя на долгие годы. У него все в жизни странно, так что в такой музе нет ничего странного.

В 1913 году начинается эта, наверное, любовь по переписке. Останутся только его послания – Вальзер уничтожает все письма, которые получает. Мысль о литературном архиве и будущих исследователях, очевидно, не приходит ему в голову.

Фрида уверяет всех, что была замужем в Безансоне за кучером и развелась, но так или иначе шансов выйти замуж и устроить свою жизнь у этой немолодой уже женщины с ребенком по тем временам немного. Предложение Вальзера могло бы решить ее судьбу, но даже в таком положении она отказала бы ему. По крайней мере, она будет говорить так в старости, объясняя это тем, что Вальзер был просто не приспособлен для семьи. Очевидно, что так и было.

Что должна испытывать женщина, получающая от возможного жениха письмо с такими словами: “Я так чудесно себе все представляю, как буду Вашим мужем и как мы оба будем жить вместе с Лизой, во всем, так сказать, послушные ей, под ее добрым влиянием. Так будет здорово, если моя сестра не выйдет замуж”.

Фрида чинит и стирает ему одежду, отправляет продуктовые посылки. Если бы он искал жену, нашел бы жену, но он ищет в женщинах мать. Он готов принимать заботу, но не в состоянии предложить взамен ни дома, ни защиты, ни уверенности. У него не было ничего, что ожидает женщина от замужества. Он был плохим женихом.

Невозможно представить себе Вальзера семьянином. Его одиночество – не стечение обстоятельств, но осознанный выбор. Он сделал шаг в сторону. Оставил гонку за успехом. Сложил с себя все обязанности от мира сего. Семья потребовала бы конечной жертвы: вернуться в реальность быта, зарабатывать деньги, идти на компромиссы. Сделать шаг обратно.

Каждый писатель рано или поздно должен ответить на простой вопрос: что он готов принести в жертву? Что ему важнее: ответственность перед текстом или перед семьей? Что сильнее: чувство долга перед несказанными словами или перед близкими людьми?

Выбор Вальзера. Фрида остается на долгие годы его корреспондентом и что-то вроде мамы на расстоянии. В письмах он будет благодарить ее за присланные продукты, за починенные носки. Обсуждать с ней все на свете, кроме самого главного. Туда он ее не пустит.

Сестра Лиза потом будет говорить, что Роберт мучил Фриду своей нерешительностью, и передаст слова подруги: “Мне и с одним ребенком трудно – как мне выдержать с двумя?” Для них он просто не стал взрослым, не смог взять на себя ответственность за жизнь людей, которые были ему дороги, остался ребенком.

Он не смог сделать счастливым себя и дать счастье любимому человеку. Что это было – детскость или мужество отречения?

В одном письме он написал Фриде: “У меня есть один долг, который я должен исполнить”.

К своей работе он еще никогда раньше не относился с такой серьезностью. Вальзер в молодости работал без черновиков, записывал сразу начисто готовый текст. В Биле писатель переходит на карандаш. Здесь он начинает относиться к своей работе серьезнее: сначала он записывает куски прозы микроскопическим почерком для себя, потом, в случае надобности отослать текст куда-то для публикации, переписывает набело пером. Его любовь к каллиграфии переходит в микрописьмо. Для непосвященного разобрать его каракули, напоминавшие тайнопись, специальный шифр, невозможно.

О любом другом писателе можно было бы сказать: здесь начинается расцвет его творчества. Почему-то о Вальзере не получается говорить так, как о других.

Эмиль Шибли, когда-то известный бернский писатель, теперь забытый и упоминаемый в основном лишь в связи с Вальзером, описал их встречу в Биле. Этот текст был опубликован в 1927 году.

“Что рассказать о его внешнем виде? Что ж, выглядит он не так, как может представить себе читатель его книг… Все его книги проникнуты чем-то легким, изящным. Чем-то шелестящим и скорее радостным, подчас чересчур витиеватым. Сам писатель, напротив, тяжеловатый, молчаливый, своим простым видом скорее напоминает ремесленника, слесаря или механика. Во

всяком случае он производит впечатление совершенно здорового человека. Его книги странные, крайне своенравные и оригинальные, несут отпечаток неповторимой личности; автор же ничем не примечательный, кроткий, подчеркнуто будничный. Только глаза смотрят значительно. Его костюм дышал на ладан. На коленках виднелись огромные заплаты, пришитые с трогательной беспомощностью мужской рукой. Весь облик этого человека, перевалившего за сорок, излучал богатство духа, знания и, что важнее, человечности и говорил о мужестве и даже гордости, с которой тот переносил свою крайнюю бедность. Смотреть на него было больно. Этот писатель, издавший десять книг, <…> страдает от нужды, носит лохмотья бродяги, хотя работает как одержимый. Этот писатель (король нашей литературы), которого потомки признают если не великим, то мастером высочайшей пробы, испытывает лишения горького одиночества и терпит боль мещанского презрения, все для того, чтобы отстоять свое право быть писателем. Да черт побери! Пусть найдет себе другое занятие, которое принесет ему больше доходов и уважения! Он не может. Бог призвал его быть писателем. И он лучше будет умирать с голода и ходить в изношенном и залатанном тряпье, терпеть унижение от уничижительных взглядов благопорядочных бюргеров, прилежно занимающихся зарабатыванием денег. Во имя того, кто его призвал”.

Его выбор – повернуться спиной к обществу, предпочесть жизнь отщепенца, принять все, что этот выбор за собой влечет: нищету, изоляцию, презрение. Это не страх перед жизнью, это совсем другое. Устроенный быт требует слишком высокую цену. У него нет даже книг. Нищета и отсутствие какой-либо собственности – логическое продолжение избранного пути. Все ценности этого мира идут в обмен на другое, более ценное. Точка невозврата пройдена, для него уже невозможно вернуться и участвовать в жизненном забеге вместе со всеми.

Он накладывает на себя обет нищеты, нестяжательства, безбрачия, получая за это блаженство независимости от мира сего. Писательство как юродство. Но не тяжелое, поучающее и обличающее, с веригами и публичными самоистязаниями, а легкое, никому не видимое, радостное. Его радость – плоть от плоти той радости, которая переполняла говорившего птицам Франциска.

Шибли вспоминает, как Вальзер сказал ему: “Я все равно не брошу мою работу. Она несмотря ни на что делает меня счастливым человеком. Хотя я и знаю, что в обществе меня держат за сумасшедшего… или за люмпена и тунеядца. Но это не

так важно. Судьба не захочет сотворить из меня второго Генриха фон Кляйста". Он усмехнулся: "Нет, счастья больше, чем страданий. Правда".

Он не отвернулся от жизни. Он выбрал свободу творить. Творчество – это проявление высшей любви к жизни.

С наступлением войны Швейцария тоже объявляет мобилизацию. Призывают всех мужчин, способных носить оружие. Генералы и газеты всей Европы, в том числе и нейтральной альпийской республики, требуют умереть за отечество. Страна, затерявшаяся посреди полей мировой войны, напоминает хрупкую вазу в посудной лавке, где дерутся слоны.

Вальзера призывают, и он становится рядовым 134-го стрелкового батальона. Раз в год его забирают на несколько месяцев служить в отдаленных горных районах. Он будет вспоминать потом, как офицер орал на него перед строем: "Вальзер, ты не солдат, а говно!" И солдатом он был никудышным.

В периоды между военными сборами он пишет. Не о войне. О своих прогулках.

Быть не от мира сего – это не капитуляция, не сдача оружия, не бегство от чудовищной реальности мировой катастрофы, это выбранная позиция, его укрепрайон, линия обороны. Это контратака и создание контрреальности.

Его келья – это поля и леса вокруг Биля, горы и озера. Его келья – он сам. Даже на прогулке.

Для затворника, добровольно взявшего на себя обет одинокого служения – послушание перу, выход из его писательской каморки является больше чем прогулкой – это его единственная возможность связи с внешним миром. Прогулка как шов с реальностью.

Повесть "Прогулка" рождается в августе 1916 года. В эти дни на Западе идет битва на Сомме, в которой погибнет миллион человек. На Востоке завершается Брусиловский прорыв – полмиллиона. В эти августовские дни убивают на фронтах в Италии, Месопотамии, Палестине, на Кавказе, на Балканах. Об этом пишут газеты.

Перо Вальзера выводит: "Настоящим сообщаю, что одним прекрасным утром, не упомню уже, в котором точно часу, охваченный внезапным желанием прогуляться, я надел шляпу и, оставив писательскую каморку, полную призраков, слетел вниз по лестнице, чтобы поскорее очутиться на улице".

Войне он противопоставляет мир, злобе и пошлости – наивность и иронию, сошедшей с ума реальности – слово.

В европейское культурное сознание прогулку ввел Руссо со своим *promeneur solitaire*: интеллектуал, как правило писатель, ходит по красивым местам, как правило по Альпам, наслаждается видами на озера и горы и размышляет о чем-нибудь, как правило, возвышенном. За Руссо вдогонку ринулись поклонники с “Новой Элоизой” под мышкой. В том числе русские – Карамзин, но русские ринулись гулять не по родным просторам, а в те же Альпы. Писатели последовавшей эпохи романтизма затоптали все подобающие для прогулок места и издали тома своих впечатлений, написанных по романтическому шаблону.

В России такой тип интеллектуального променада – долгого пешего путешествия с целью наслаждения открывающимися видами – не прижился. Очевидно, оттого, что у нас целый день шагай или скачи – вид не изменится. Русский вариант такой рефлексирующей прогулки – охота. “Записки охотника” начинаются в европейской традиции фланёра с чернильницей, но заканчиваются очень по-русски, не восхищением Божьим миром, а обличением человеческого скотства.

К началу XX века романтические прогулки давно стали литературным клише. Ко времени Вальзера все красивые места отданы на откуп массовому туризму, горы и озера описаны великими и невеликими столько раз, что напоминают палимпсесты, а сам процесс хождения захвачен патриотическими движениями, вроде *“Wandervogel”* в Германии. Среди ярых приверженцев “Перелетных птиц” был, к примеру, юный Эрнст Юнгер. Длинные изнурительные пешие прогулки-марши понимались как жест молодежного протеста против расслабленного буржуазного общества. Те бравые походники прямиком шагали к битве на Сомме.

С самого начала читателя “Прогулки” ожидает подвох – действо, заявленное в заглавии, прогулкой не окажется. Как на фоне развернутого выше культурно-исторического задника, так и в самом обыденном смысле как отдых от трудов – размять ноги, подышать свежим воздухом. Романтический пафос получит от пера автора смертельную дозу иронии, а в голове у героя вдруг возникнет целый список неотложных встреч, которые всегда можно отложить. Короче, весь мир занят делами – войной и зарабатыванием денег, а герой “Прогулки” отправляется шастать по улочкам предместья какого-то провинциального городка.

Гамлет, который между быть и не быть выбирает погулять?

Прогулка за город по исхоженным дорожкам становится путешествием на край света. И что это за странное хождение за три пруда? Что за путеводитель по пустякам?

Что это за жанр, где читатель никогда не может предугадать,

что случится с героем через минуту? Барочный приключенческий роман? Скорее средневековое описание путешествия к антиподам, где все возможно – вплоть до встречи с великанами.

Он будто видит мир впервые. Будничные детали подаются с пафосом первооткрывателя – так описывают не намозолившие глаза вывески или витрины, а неизведанные, только что открытые острова. Театральные жесты, с которым мелочи преподносятся как нечто значительное, сразу заставляют даже неискушенного читателя насторожиться. Рассказчик слишком откровенно берет фальшивую ноту – слишком наигранно строит из себя наивного простачка.

Читающего ожидает обманка с самого начала. Первые же слова сбивают с толка – необязательность прогулки вступает в противоречие с зачином отчета. “Настоящим сообщаю, что”. Жанр отчета подразумевает основательность, фундаментальность, важность и необходимость каждой фразы. Речь идет о чем-то важном-преважном: “…Я не в праве бросать на ветер ни пространство, ни время”. Но важным оказывается вообще всё, всякая всячина, любой пустяк, безделица.

Названное получает право на появление в пространстве текста не потому, что является необходимым колесиком всего механизма рассказа, а лишь по произволу называющего. Вальзер испытывает механизм прозы уже следующего поколения.

По всем писаным и неписаным законам креолка, она же перуанка или бразильянка, встретившаяся герою в самом начале повествования, должна снова появиться на страницах повести. Это скобы, которые должны держать стены рассказа, не давать разрушиться создаваемой вселенной. Но только не во вселенной Вальзера.

Если в мире привычной художественной гравитации заявленное ружье должно рано или поздно выстрелить, то здесь, в мироздании Вальзера, ружей развешено на каждом кусте, но ни одно и не собирается выстреливать.

В первом же абзаце писатель делает внятное заявление – смешивает стили разной группы крови, попирает элементарные писательские законы и читательские ожидания. Креолка появляется именно для того, чтобы больше не появиться.

Все происходящее случайно. Но нарочито случайно. И в этой нарочитости – строгий порядок другого, вальзеровского, измерения прозы. Герои появляются и исчезают со скоростью взгляда, бегущего по строке. Сослуживец на велосипеде, старьевщик, вагоновожатый, налоговый чиновник, учитель на экскурсии, дети, собаки проплывают мимо, как на карусели. Глаз

цепляется, но остановить карусель не может. Автор протягивает нам на ладони даже целый поезд с цирком – вот бы разглядеть по-настоящему всех этих слонов, жирафов, свирепых львов, сингалов, тигров, обезьян, крокодилов, канатных плясуней и белых медведей! Но увы, поезд уже уехал. Да и был ли цирк? А налоговый инспектор был? Может, был. А может, и не был. Мы в прозе Вальзера.

Фирменный фокус литературы – создание иллюзии, что описываемые события действительно происходят, поступки совершаются, слова говорятся. Читатель Вальзера хватается за эту иллюзию, как за спасательный круг. Писатель отнимает и его.

Текст не поддается привычным дефинициям. “Прогулка” напичкана восторженными описаниями природы, но это не пастораль. Повествователь, заговариваясь, начинает читать мораль сытым и призывать к любви к “униженным и оскорбленным”, но это не критика общественного устройства. Он описывает изнуренных трудом работниц и возмущается, что бедные дети плохо одеты, в то время как богатые господа тратят деньги на модные ненужные вещи, но он далек от социального пафоса. Мир таков, каков есть, и никакие перевороты не избавят его от подлецов и разницы между богатством и бедностью. Проза, настоящее искусство вообще не об этом.

По своему активному отрицанию литературы идей и социальных обличений Вальзер близок с Набоковым. Но если уж их сравнивать, то по своей писательской бескомпромиссности немецкий швейцарец далеко обогнал русского американца.

Набоков всю жизнь пытался играть по стандартным правилам литературы: строил замысловатый сюжет, лепил человекоподобных героев. Конечно, он играл в поддавки с читательскими ожиданиями, но главным для него оставался язык.

“Лолита” – книга не про роман Гумберта Гумберта с девочкой, а про роман Набокова с английским языком, которым русский писатель овладел, но тот все равно посмеялся над ним, оказался, как и был изначально, чужим. Читатель был пойман Набоковым на крюк скандального сюжета.

Вальзер сразу пошел дальше и отказался от нечестной игры в сюжет и героев. Весь инструментарий, наработанный поколениями романистов для завлечения читателя, остается не только неиспользованным, но и высмеянным.

Стиль Вальзера – его голос, ломкий и неуверенный. Стиль – это диагноз. Стеснительность прикрывается болтливостью. Срывы в пафосный фальцет, переходящие в смиренные расшаркивания, – от неуверенности в том, слышно ли его. Не стиль, а качели с

размахом от блаженного чириканья до занудства. Но стиль – это и его единственное оружие.

Язык – поле его боя. Канцелярский жаргон – анонимный, плоть от плоти заоконного и заранее расписанного порядка вещей, где суетятся рабы своего успеха, вступает в языковой конфликт с нерегламентированной речью индивида, писателя, который должен каждую фразу изобретать заново. Своими синтаксическими эскападами, головокружительными глагольными завихрениями, нырянием из цветистых словоплетений в детский лепет, жонглированием избитыми оборотами Вальзер разрушает устоявшиеся представления о литературной стилистике. Это его форма протеста, языковое низложение существующего миропорядка.

Искусство писания заключается в отклонении от общепринятой нормы изложения, существует в свободной зоне между “правильно” и “неправильно”. Вальзер пишет неправильно. Его перо не признает никаких установленных норм и все время уходит в самоволку.

Речевые шаблоны – отражение структуры шаблонного мира. Разрушение общепринятых норм языка – борьба с миром, живущим по шаблонам.

Вальзер все время нарушает норму косноязычием – изящный слог засоряется канцеляризмами, канцелярский слог – просторечиями. То самое непереводимое косноязычие, делающее невозможным существование Платонова в немецком пространстве, а Вальзера – в русском.

От чтения “Прогулки” вначале остается ощущение недостоверности.

Текст производит впечатление издерганности, нестройности, даже неряшливости. Читателя окатывают волны то приторной учтивости, доведенной до абсурда, то болтовни, которой время от времени пугается сам автор. Чего стоят только постоянные повторы – любой писатель на месте Вальзера убрал бы одну из двух собак, улегшихся на разных страницах поперек дороги и рассказа. Это в реальной жизни таких собак может встретиться хоть дюжина, но в прозе они вне закона. Только не в прозе Вальзера.

Рассказчик никуда не идет, вернее, делает вид, что идет, как в театре, когда герой перебирает ногами, стоя на месте, а мимо него кружатся декорации на вращающейся сцене. Целый день он в пути, но читатель не чувствует ни усталости, ни ноющих ног, ни пота у него подмышками. Декорации аляповаты, все только названо, ничего не выписано. После Чехова и Бунина вальзеровское описание природы кажется авангардной

постановкой классики, когда лес на сцене изображается табличкой с надписью “Лес”. Особенно в описаниях природы русскому читателю вальзеровский слог кажется пресным. Не бунинский живой миг, уникальный и единственный, а пустословная кодировка: лес, поле, озеро, ветер, небо. В русской прозе после современников Вальзера – Чехова и Набокова – не может быть “зеленых деревьев” и “голубого неба”. Здесь же запретные заезженные эпитеты так и сыпятся на существительные, как из прорехи в мешке.

Восторги по поводу природы занимают огромную часть текста, но природы в “Прогулке” нет. Все деревья, кусты, цветы, трава названы, но не созданы. Живая природа в пространстве его прозы и не может существовать, потому что природа в тексте Вальзера – это продолжение одиночества.

В живом лесу человек не одинок. Живой лес – это присутствие его Создателя.

Перо Вальзера одиноко и несовместимо.

Одиночество переполняет его каморку и, выливаясь на улицу, заполняет собой все видимое и невидимое пространство. Так варится каша в сказке и заполняет все дороги и поля до самого горизонта, потому что не может остановиться. Только в сказке можно крикнуть: “Горшочек, не вари!” А горшочек, варящий одиночество, не знает никаких волшебных слов. Это тотальное вселенское одиночество заполняет все пространство текста от края до края и создает герметичность вальзеровского мира. Живое дерево прорвет оболочку, герметичность нарушится, в отверстие хлынет мир, созданный другим творцом, и перепад давлений уничтожит текст.

И не только деревья. То же самое со всеми встреченными персонажами. Это не люди – это слова. Поэтому перо так легко покидает их и переходит к следующим. И люди в прозе Вальзера названы, но не созданы. Любой живой человек станет пробоиной, утянет текст на дно.

Психологический реализм, по заповедям которого персонаж живет не только выйдя на сцену, но и до выхода на сцену и после ухода за кулисы, неприменим в мире “Прогулки”. Таксатор – такая же табличка с написанным на ней словом, а не живой человек. Поэтому мы ничего о нем не узнаем – есть ли у него дети? Что ему в детстве готовила мама? Как он впервые признавался в любви? Поднимался ли на Эйфелеву башню? А может, он сам пишет, но только в стол, ведь нужно зарабатывать деньги для семьи, а не сочинительствовать. И такие же таблички со словами – все герои этой прозы: и книгопродавец, и фрау Эби, и портной Дюнн. Смысл этих персонажей – не в самих себе.

Для героя рассказчика, писателя-отшельника, городского пустынножителя прогулка, казалось бы, единственная оставшаяся возможность коммуникации, и в пространстве текста он без конца вступает в разговоры чуть ли не с каждым встречным, с равным красноречием обращаясь и к людям, и к собакам.

Но речи его меньше всего напоминают попытку коммуникации. Его витиеватые обращения обманчивы, его высокопарный пафос не достигает цели, как стрельба холостыми патронами. Звучат обличения и восторги рассказчика на самом деле или только в мыслях?

Он говорит больше для себя, чем для других. Неспособность к коммуникации компенсируется с лихвой монологом. Встретившиеся на пути люди будто заражаются от его пера и начинают отвечать ему его же экзальтированной и лукавой речью, заставляя читающего сомневаться в том, действительно ли они встретились и разговорились. Любая попытка разговора, общения остается монологом.

Эксцентричность, пламенность речи – заражает всех и все. Что удивительного, что в “Прогулке” не только все персонажи начинают говорить голосом рассказчика, но даже вывеска пансиона становится монологом на полторы страницы. И таксатор, и природа, и железнодорожный переезд, и вывеска, и все остальное в этой прозе Вальзера – часть его бесконечного *Ich-Roman*, который он писал всю свою жизнь, романа о я, где я – не субъект, не Роберт Вальзер, гражданин общины Херизау в кантоне Аппенцель, а персонифицированный акт писания, само творчество, которое вдруг обретает сознание и осознает себя.

Прогулка пристанет к имени Вальзера, как к Набокову бабочки. Про него будут писать “Король всех фланеров, настоящий гений праздношатания”. Это о писателе, который проводил за своим письменном столом под крышей “Голубого креста” по 10–12 часов ежедневно.

Ни герой “Прогулки”, ни его автор никуда не идут – ни на какую прогулку.

“Настоящим сообщаю, что” – это скрупулезный отчет не о прогулке в обыденное и не о путешествии в неизведанное. Это отчет не об открытии мира, но о его сотворении.

Сюжет “Прогулки” и главный герой ее – само писание. Текст начинается из тьмы пустоты, из мрака белого листа бумаги. Снежная белизна непокрытого буквами пространства – небытие писателя. Снежная равнина во многих текстах Вальзера связывается с мыслью о смерти, невозможности существования.

Сотворение мира “Прогулки” начинается не с выхода на

лестницу, не со шляпы или встречи с креолкой, а со слов о написании слов – сообщение о сообщении. Прогулка начинается не с покидания каморки, полной призраков, а с того, что автор садится за стол и начинает писать. Он отправляется не на прогулку, а в ее описание. Он идет, только когда описывает, как он идет. Суть описываемого, а значит, происходящего, в самом акте творчества.

"…Громада тронулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?" В прозе Вальзера направление не имеет никакого значения. У этого корабля лишь одна функция – плыть, как у построенного Ноем ковчега.

Собеседник первого поэта в России традиционно – первый читатель. Пушкин беседует с царем, Пастернак – с генсеком. Таксатор "Прогулки", налоговый инспектор, – символ местного порядка вещей. Беседа со швейцарским налоговым чиновником становится разговором о высшей власти, о нерукотворном памятнике, о главе непокорной. То, что в России измеряется высотой Александрийского столпа, здесь – размером налоговой процентной ставки.

Привычной системе ценностей мира сего противопоставляется обратная, в которой деньги, общественный успех, погоня за престижем – ничто. Прогулка – всё. Прогулка пера по бумаге. Сам налоговый инспектор представляет ценность только потому, что перо автора касается его.

Важным делом занимаются не те, кто зарабатывает деньги или едет во встреченном на железнодорожном переезде военном эшелоне, а он, автор. Пусть он для них лишь "праздношатающийся". Пусть они презирают того, кого считают бездельником и тунеядцем. Им простится, ибо не ведают, что творят. На самом деле это он идет и занимается самым важным делом – забирает их с собой в то настоящее время, где они не состарятся и не умрут. И только от него, от пишущего *я*, зависит, кого взять с собой в этот корабль, в этот единственный ковчег – собаку, ребенка, дерево.

Я – хозяин мира. Властелин времени. Это его перо казнит и милует. Это он обладает привилегией и возможностью выбрать, что захочет, хоть промелькнувшую креолку, и спасти ее из так называемой реальности, забрать с собой из ненастоящей ускользнувшей секунды, в единственное настоящее время, где все происходит без конца и он всегда будет встречать на лестнице эту креолку, или перуанку, а может, и бразильянку. И смерть – только слово.

(Кстати – или некстати, а потому в скобках – один мой

знакомый швейцарский писатель, в меру удачливый, в меру талантливый, в меру стесненный в средствах, рассказал мне, как послал в налоговую инспекцию вместо заполненной декларации о доходах переписанный отрывок из Вальзера, гимн всех писателей, обращение к таксатору из “Прогулки”. В ответ ему прислали требование заплатить средний размер налога по кантону – у налоговых чиновников своя поэзия.)

Вальзер вроде бы все время помнит о читателе, зовет за собой, то и дело протягивает руку, но до нее никак не дотянуться. Постоянные обращения “к любезному читателю” звучат как насмешка, в них слышится горький сарказм, ибо у писателя нет никакой уверенности в том, будет ли у этих строк он вообще, этот самый любезный читатель. Читающий предоставлен самому себе в этом словесном потоке и должен на свой страх и риск ступать по скользким камням между исповедью и самоанализом, мудростью и банальностью, болью и шуткой. Ирония и наивность в прозе Вальзера свернулись в ленту Мёбиуса, став единым целым, без перехода: под наивностью всегда скрывается ирония, а под иронией – наивность.

Но если все в тексте Вальзера – проникнутая иронией обманка, то почему паузы между словами наполнены такой живой тоской? Почему сквозь обломки несовместимых стилей, груды обветшалых эпитетов, затоптанных сравнений с такой силой пробиваются его человечье тепло, неуверенность, приливы счастья, грусть, отчаяние?

В прозе главное – достоверность. Слова должны быть достойны веры. Достоверность вальзеровской прозы строится на другом уровне. Реальность человеческого, правда ощущений держится не сюжетом, не конструированием персонажей, не описаниями, а сбивчивым дыханием говорящего, его ломким голосом.

Придумываемое им – ненастоящее, но он – настоящий. Его лукавое перо вводит в заблуждение читателя, но каждая неправда пера подчеркивает правду пишущего, сидящего в эту минуту за столом и выводящего на бумаге именно эти буквы.

Слишком много человеческого проступает сквозь иронию. Слишком явно слышатся в разговоре с книгопродавцем обиды от непризнания, слишком плохо запрятана горечь зависти в безразличие к литературному успеху и в издевку над удачливыми писателями.

Слишком часто останавливается герой перед чужими окнами, перед чужой жизнью, наполненной заботами о быте, о семье. Приглядывается, прислушивается.

А еще тоска по ребенку.

По воспоминаниям бывших учеников Лизы, Вальзер их сторонился, не знал, как себя с ними вести. Неумение обращаться с детьми в жизни компенсируется восторгами по поводу каждого встреченного ребенка в его текстах.

И слишком живая боль прорывается в конце “Прогулки”, когда герой сокрушается, что сделал неправильный выбор и дал любимой девушке уехать, не остановил ее, не удержал в своей жизни.

Отказ от простого человеческого счастья предопределен. В выборе между искусством и женщиной – нет выбора. В ранней прозе Вальзера “Художник” герой расстается со своей любимой, чтобы не потерять искусство. “Я ее забуду, я забуду все. Я ужасно хотел бы верить в то, что меня гонит отсюда не искусство, но, положа руку на сердце, я думаю, что это именно оно”.

Но человек не может без ласки. В “Прогулке” одиночество, тоска по ласке с приближением к концу начинают переполнять текст до краев. Герой спасается природой. Ведь никто не приласкает, кроме ветра и листвы, никто не прикоснется к плечу, кроме тени от дерева. Природа – это мир без людей, другая сторона одиночества.

В прозе Вальзера достоверно главное описание – описание одиночества творца.

Ключ к “Прогулке” – Томцак.

“…Мне навстречу вышел человек, чудовище, огромный урод, от которого потемнело на улице, зловещий тип, необъятный ввысь и вширь, которого я, к несчастью, слишком хорошо знал, существо страннее странного, короче, великан

Томцак”.

Томцак появляется ниоткуда, перегораживает дорогу и делает продолжение прогулки невозможным.

“Не правда ли, любезный читатель, уже в самом имени звучит что-то ужасное и мрачное”. *Tomzack* – звукопись. *Zack!* – немецкоязычная передача звука от удара тесака в лавке мясника. Цак!

Кто это? Или что? Почему это видение парализует гуляющего?

“Его скорбный зловещий вид, вся его трагичная кошмарная сущность привели меня в ужас, вмиг лишили чудесных светлых надежд и прогнали веселье и радость. Томцак!”

Они знакомы. И даже слишком хорошо знают друг друга. Но что их связывает?

“Рядом с ним я казался себе карликом или жалким слабым

ребенком. Этот великан мог бы растоптать или раздавить меня с величайшей легкостью. Ах, я знал, кто он!”

Конечно, они знакомы и даже слишком хорошо. Невозможно не знать самого себя.

Встреча с Томцаком – встреча с собственным страхом. Он может перегородить дорогу и сделать светлый день тьмою где угодно и когда угодно.

Это не страх смерти. Писатель не боится смерти – она его подмастерье. Его настоящий страх – перестать писать. Страх, что слова больше не придут, оставят его навсегда. Томцак – это жизнь без писания, без творчества, без смысла. Тьма.

Томцак – это весть из пустоты. Из бессловия.

Томцак – его будущее. Предчувствие надвигающегося. Осознание грядущей тьмы.

Томцак – это он сам, но по ту сторону.

Томцак все время приходит за ним, чтобы забрать его, заключить в свои объятия. И единственная возможность освободиться – писать.

Томцак отступает, когда перо продолжает свою прогулку.

Иногда кажется, что “Прогулка” – о счастье. О счастье творить.

“Будущее поблекло и прошлое рассеялось. Мгновение пылало и заполняло своим пламенем весь мир, и я пылал в этом мгновении. <…> Я больше не был самим собой, кем-то другим, и только благодаря этому снова ощутил себя по-настоящему самим собой”. В этой сцене – пик рассказа. Эйфория творчества, растворение пишущего во всем описываемом. *Я* ощущает себя самим собой. Единение с только что сотворенным мирозданием. Пронзительные моменты счастья, знакомые каждому творцу. Ощущение левитации. Тот самый трепет, ради которого живут книгами, музыкой, красками.

Куда ведет пишущего прогулка? Никуда. К самому себе.

Прогулка заканчивается там, где началась. Фиктивный герой отправляется в свою каморку, где его не ждет никто, кроме призраков, голосов, которые будут преследовать Вальзера всю долгую оставшуюся жизнь. Реальная “Прогулка” заканчивается точкой на белом поле.

Возвращение в неписание, во тьму несуществования.

Вернуться домой – значит вернуться в ненаписанное, в неописываемое, в неподвластное языку – в недом.

Цель прогулки в том, чтобы оттянуть этот момент возвращения в никуда. И перо знает об этом с самого начала. Поэтому текст никуда не торопится, действие затягивается, а

герой без конца заговаривается, захлебывается речью. Говорение как заговор. Как знахарь заговаривает зубную боль, так *Я* “Прогулки” заговаривает неотвратимое возвращение туда, где поджидают объятия Томцака. Цель писания – не останавливаться, не ставить последнюю точку. Это единственная возможность не стать Томцаком.

Концовка “Прогулки” переворачивает весь текст и освещает смыслом. Прогулка – жизненный путь, пройденный в знании о необходимости последней точки, в понимании и в смирении перед тьмой белого поля. “Прогулка” – о борьбе с Томцаком и о признании поражения. Любая прогулка и любые слова рано или поздно должны закончиться. Перо не может бежать по бумаге вечно. Это текст о смирении.

Голоса, которые будут упоминаться в истории болезни Вальзера многие годы до самого конца, стали впервые появляться по ночам в бильские годы.

Кто-то его зовет из темноты в комнатке под крышей “Голубого креста”.

Мать?

Может быть отец, умерший тут же, в Биле в феврале 14-го года? Адольф Вальзер родился в семье, где было пятнадцать детей. У него самого было восемь. Ни у одного из братьев и сестер Роберта детей не будет.

Брат Эрнст? В то самое время, когда создается “Прогулка”, происходит трагедия с Эрнстом Вальзером, учителем средней школы и талантливым пианистом. Призванный в армию, он пытается защитить свое человеческое достоинство от унижений начальства и попадает под арест. Эрнст убегает из военной тюрьмы, его ловят и сажают в психиатрическую лечебницу. Там ему ставят диагноз шизофрения. 17 ноября 1916 года Эрнст умирает в клинике Вальдау под Берном. Это место еще сыграет свою роль в судьбе Роберта.

Другой брат, Герман? Старший брат, профессор географии Бернского университета, кончает с собой 1 мая 1919 года.

Никто никогда не узнает, чьи голоса мучили бессонными ночами Роберта Вальзера.

С оставшимися в живых родными отношения у Вальзера складываются сложные.

Самый близкий ему человек – сестра Лиза, но приязнь между ними однобокая. В письмах Вальзер отзывается о своих визитах в Бельлей с восторгом. Сама Лиза будет вспоминать, что стеснялась показываться с братом на людях из-за его одежды: он выглядел “неприлично”. В письме Хинриксену, директору клиники в

Херизау, она напишет в 1937 году: “Я раньше могла выносить Роберта часто только с большими усилиями и очень страдала от его тиранической сущности, когда он оставался у меня в гостях продолжительное время”.

Расставаясь в Берлине с братом, Вальзер расставался со своим прошлым, но прошлое не отпускает. Карл в войну тоже возвращается в Швейцарию и поселяется в Цюрихе. Братья стараются не общаться, но тень старшего по-прежнему преследует младшего.

В 1920 году Вальзер переделывает “Прогулку” для своего сборника “Зееланд” – сокращает, переписывает, упрощает. Издатель сборника согласен печатать книгу, только если в ней будут иллюстрации Карла. Роберт против. Но ничего сделать не может. Как бывает идеальное убийство, так бывает идеальное унижение: за 5 гравюр, опубликованных в книге брата, иллюстратор получает гонорар в 1000 франков. Автор за свою книгу – только 800.

Годы в Биле со стороны могут показаться идиллией: он много работает, одна за другой выходят книги: с 1913-го по 1921-й у него выходят 8 книг.

Война изолирует Вальзера от издателей в Германии, но его поначалу начинают охотно печатать на родине. За ним тянулся шлейф литератора, признанного в столицах. Отныне он публикуется в основном в маргинальных изданиях и небольших швейцарских издательствах, все больше удаляясь от “большой” литературы.

По-прежнему у него есть узкий круг ценителей при отсутствии какого-либо успеха у читателя.

Главный швейцарский литературный авторитет того времени, редактор отдела культуры самой влиятельной газеты страны “Нойе Цюрхер Цайтунг” Эдуард Корроди, называет “Прогулку” в своей рецензии “маленьким шедевром”.

“Если бы такие писатели, как Вальзер, принадлежали к «ведущим умам», то войны не было бы, – пишет Герман Гессе в 1917 году в рецензии на «Жизнь поэта». – Если бы у него было сто тысяч читателей, мир стал бы лучше. Но каким бы ни был мир, он оправдан существованием людей, подобных Вальзеру…”

На самом деле каждая публикация все дальше отодвигает автора на литературную обочину. Гонорары ничтожные, тиражи крошечные. По-прежнему его книги остаются пылиться на полках в книжных магазинах. Что ж, лучше оставаться на полке, чем попасть в руки не к своему читателю. Читают то, что “попадает в нерв времени”. Во все времена важна актуальность темы. Это не про Вальзера. Он пишет не про великое, а про ничтожные мелочи,

и этим сбивает современников с толку. Он пишет о “мелком” и потому сам кажется им мелким. Величественные идеи оборачиваются почему-то всегда кровью и насилием. Его перо не знает ничего величественного, вернее, признает таковое недействительным.

Вальзер чурается швейцарских коллег, занятых своей литературной жизнью. Когда писатели приглашают его к себе, он снова надевает клоунский колпак. Клоунада становится все отчаяннее.

Знакомый Вальзера Эмиль Шибли устраивает ему выступление в престижном Литературном обществе в Цюрихе (*Hottinger Literaturzirkel*). Вальзер игнорирует железную дорогу и отправляется пешком – идет двое суток. В Цюрихе он останавливается у президента общества Ханса Бодмера. Тот, шокированный видом писателя, просит его прочитать то, с чем Вальзер собирается выступать перед публикой. Вальзер начинает читать. Бодмер приходит в ужас: “Но господин Вальзер, вы же не умеете читать вслух!” Возмущенный автор стучит кулаком по столу: “За кого вы меня принимаете! Я шел пешком в Цюрих не для того, чтобы отказаться от гонорара!” В конце концов находится выход: Вальзер получает гонорар, но текст читает не он. В зале объявляют, что автор занемог. При этом, живой и здоровый, он сидит в первом ряду в малом зале Тонхалле. Это была очень грустная клоунада.

Он пишет много, но манускрипты все чаще возвращаются, а то и вовсе пропадают. Так исчез роман “Тобольд”, написанный зимой 1919 года.

Каждый отказ – удар по авторскому самолюбию. Унижение его достоинства. Уверенность в своих силах все время подвергается жестокому испытанию. Плоды его труда никому не нужны. Работа впустую. Ценности, которые не представляют для окружающих никакой цены.

Рядом с ним нет никого, кто бы поддерживал его писание, его борьбу за право быть тем, кто он есть. И меньше всего верят в него самые близкие: сестра Лиза предлагает ему заняться, наконец, делом и устроиться больничным служителем в клинике Бельлей.

В Биле его держат за городского сумасшедшего. Каждое соприкосновение с миром причиняет боль. Реальность сдирает кожу, как наждачная бумага. Он сокращает общение до минимума. Одиночество – его лекарство от ненужных людей и потраченных впустую слов.

На него начинают накатывать приступы отчаяния. В одном письме он пишет: “В нынешние времена каждая мать должна

радоваться, если ее сын не проявляет никаких наклонностей к писательству и т. п.” Похоже, любая мать будет этому рада в любые времена.

Он отказывается от компромиссов с издателями и читателями, отказывается от борьбы за общественное признание, но это совсем не значит, что оно ему не нужно. Он выдает себя почти в каждом тексте. В “Жизни художника” (“*Leben eines Malers*”, 1916) Вальзер описывает писателя, в котором, как в каждом его персонаже-писателе, невозможно не узнать самого автора: “Из слухового окошка выглядывает любопытная голова, осматривается, возможно, этот бедный обитатель чердака – писатель, который страстно мечтает о славе и красивых женщинах, как это может только он, или я не знаю кто”. Ирония здесь лишь поверхностная, а тоска сквозь эти строчки прорывается настоящая.

Ему нужно уехать. Он не хочет больше быть городским сумасшедшим там, где он родился, ходил в школу, где его семью все знают. Он хочет уехать в город, в котором можно раствориться, спрятаться, стать незаметным.

Повод скоро подворачивается – знакомый устраивает его с января 1921 года на должность библиотекаря в государственном архиве Берна.

Вальзер переезжает в столицу Швейцарии, крошечный провинциальный городок на Ааре. Берн ему немножко родной – здесь когда-то были впервые опубликованы в воскресном приложении к газете “Бунд” его стихи, а потом и проза. Здесь живет его младшая сестра Фанни, зубной техник. Он заходит к ней иногда по воскресеньям на чашку кофе. А выходя на улицу, он становится просто прохожим, теряется в толпе.

После многих лет жизни свободным художником Вальзер снова впрягается в службу. Та игра в жизненный театр, которая в молодости давалась легко, теперь не дается. Театр закончился. Вальзеру сорок три. Играть чужие роли он больше не может.

Его последняя служба продолжается всего три с небольшим месяца. Он взрывается. Сказав начальнику все, что он о нем думает, Вальзер уходит. Он свободный писатель. И никто больше.

По-прежнему он живет в нищете, не имея ни приличной одежды, ни книг, но дело не в отсутствии денег. После смерти брата Германа Роберт получает свою часть наследства – 5 000 франков. Вскоре умирает состоятельный дядя в Базеле, писателю достаются еще 10 000 франков. По тем временам это весьма значительные суммы – для сравнения: за свою службу в архиве он получал ежемесячный оклад в 350 франков.

Ему ничего не нужно. Сводить концы с концами – не преодоление временных трудностей, но образ жизни. Тот путь, который он выбрал, не ведет к деньгам. Для заработка нужно заниматься чем-то другим, тем, что нужно окружающим. Окружающим его тексты не нужны. Он пишет, потому что это необходимо ему.

Он осуществил мечту Толстого – ничего не иметь. Уйти в никуда и жить, как живут блаженные, – без вещей, без книг, без одежды, без дома, без забот о бренном. У великого старца уход превратился то ли в величайшую трагедию, то ли в величайший фарс. Детективное бегство от журналистов и оперный финал с массовкой, обратившей похороны писателя в антиправительственную манифестацию. А тут будничность юродства. С несвежим галстуком и кружкой пива в привокзальном буфете. И ежедневным многочасовым писанием как послушанием. Он свободен. Он никому ничего не должен. Только листу бумаги.

Мог ли Вальзер представить себе, что после смерти о нем будут написаны тысячи диссертаций, докторских работ, академических исследований и монографий?

Элиас Канетти напишет в начале семидесятых: “Найдется ли среди тех, кто строит свое безмятежное, надежное, покойное академическое существование на жизни писателя, проведшего свою жизнь в нищете и отчаянии, хоть один, которому стыдно?”

Редакторы литературных отделов некоторых газет в Швейцарии и за границей пытаются ему помочь. Например, Макс Брод, будучи редактором немецкоязычной газеты “Прагер тагблатт” в Праге, регулярно публиковал короткие тексты Вальзера, преодолевая сопротивление своей редакции.

Но печатать Вальзера становится все труднее. Эдуард Корроди признается впоследствии, что всякая публикация Вальзера в литературном приложении “Нойе Цюрхер Цайтунг” давалась ему с огромным трудом – каждый раз он получал письма от рассерженных читателей, грозивших отказаться от подписки, если газета не прекратит публиковать такое “безобразие”.

В мае 1927 года из берлинской газеты “Берлинер Тагеблатт”, в которой тоже появлялись его публикации, он получает совет: хотя бы полгода воздержаться от присылки своих текстов. Он не нужен.

Отказы приходят и из других изданий в Швейцарии, Германии, Австрии. Всё больше отказов. Редакторы советуют ему писать то, что интересно публике. Вальзер упорно продолжает писать и посылать им только то, что он сам хочет увидеть в

печати.

Он не идет ни на какие компромиссы и, кажется, сам делает все для сокращения и так скромного количества своих поклонников и знакомых. Переписка с издателями и редакторами исполнена вежливости, доведенной до степени, где уже очевидна насмешка. Он откровенно издевается над своими корреспондентами. Роман “Теодор” отклоняется заинтересованным издателем только потому, что Вальзер выдвигает заранее невыполнимые условия для публикации. Этот роман послужил поводом для Вальзера вступить в Швейцарский союз писателей, который выдавал своим членам авансы за ненапечатанные произведения. Но общение с писательской организацией не продлится долго. С коллегами Вальзер переругается, а из Швейцарского союза писателей демонстративно выйдет.

Он отходит в сторону, не хочет принимать участие в схватке на литературном ковре и под ковром. Может, он уже знает, что победа все равно достанется ему? Может, ему изначально дано сокровенное знание о будущем? Может, он уже знает, что подавляющее большинство литературных победителей тех лет канут в никуда, а его тексты будут изучать дети в школах.

А что касается “Теодора”, то манускрипт годами будет кочевать из издательства в издательство, пока не сгорит во Вторую мировую войну во время налета вместе с архивом издательства “Ровольт”. Этот роман, так же как “Тобольд”, считается утерянным.

Он пишет в никуда.

В 1925 году выходит последняя собранная им самим книга малой прозы “Роза”. Книга тонет в пустоту, утягивая за собой автора. С маниакальным упорством он пишет дальше. Чем больше неуспех, тем больше он пишет.

За редкие публикации он получает грошовые гонорары, но не находит отзыва, который ему важен, как каждому художнику. Читатель исчез. Никакого отклика. Знакомые его не читают. Те, кто с ним общается на прогулках и по жизни, – не его читатели.

Он пишет отчаянно, назло отпискам из редакций. Годы, проведенные в Берне, – самые плодотворные в его жизни. Им созданы больше 1000 текстов, в том числе его лучший роман “Разбойник”, который увидит свет только через много лет после смерти автора.

Сорокавосьмилетний Вальзер получает восторженное письмо из Германии от поклонницы его творчества Терезы Брайтбах. Ей семнадцать. Его неудовлетворенная потребность в признании и

восхищении выливается в переписку. Они никогда не встретятся.

Он пишет ей длинные письма. О том, о чем никому не может рассказать, потому что некому рассказывать. Например, о том, что он и в Берне становится городским сумасшедшим. В октябре 1925 года: “Одно время меня считали здесь помешанным и громко говорили, когда я проходил мимо под аркадами на нашей улице: этого нужно отправить в психушку! Наш великий швейцарский писатель Конрад Фердинанд Майер, Вам, разумеется, известный, тоже одно время сидел в санатории для не совсем душевно здоровых. Теперь отмечают столетний юбилей этого бедняги речами и хоровыми декламациями”.

Берн пустеет – сестра Фанни в 1926 году уезжает с мужем в Латвию, где он работает управителем лесного имения, принадлежащего спичечной фабрике. Общение с Лизой и Фридой Мермет почти замирает.

Ночные голоса, которые преследовали его в Биле, теперь приходят к нему в часы бессонницы в Берне. Может, умершие родные зовут его к себе? А может, те неизлечимо больные из клиники, где работает сестра? Ему кажется, что если переехать, сменить съемную комнату на другую, можно обмануть голоса, убежать от них. За восемь лет он переезжает 15 раз, иногда проводя на одном месте всего пару недель: то ругается с квартирными хозяйками, то без видимых причин.

Он нигде не ощущает себя дома, он живет бездомностью и пониманием, что у него есть то, что важнее дома.

Писание – его дом, его отечество, его отец. Его прибежище, его утешение, его родные, его семья.

Каждый кусок его прозы – возвращение блудного сына домой, в текст, единственное место на свете, где его любят и ждут. Как к стопам отца, он припадает к писанию. Слова обнимают его, прижимают к себе.

Пятидесятилетие – особый рубеж в человеческой жизни. Ничего изменить уже больше невозможно. Ты – только там, куда ты эти пятьдесят лет шел. Будущее уже наступило, ничего больше нельзя откладывать.

В июне 1925 года литературная общественность отмечает юбилей Томаса Манна. В июле 1927-го газеты полны поздравлений в адрес Германа Гессе.

В апреле 1928 года юбилей Роберта Вальзера никто не отмечает. Как отмечать юбилей писателя-неудачника?

Это пытка на дыбе, его разрывают: как автор, он понимает свое значение, важность для литературы того, что он делает; с другой стороны, угнетает непризнание и осознание, что

признания не будет, а жизнь стремительно уходит.

Все кругом хотят, чтобы он перестал писать – родные стыдятся его, издатели просят ничего не присылать. От него хотят, чтобы он перестал писать – от него хотят, чтобы он перестал быть.

Это Томцак.

Выход пера за последнюю точку, в белое поле не заполненной словами страницы, уход в ненаписанное означает исчезновение. Приход тьмы. Ему нельзя останавливаться.

Он знает, для кого он пишет, – не для читающей публики, ее нет и не будет. Его отчаянное писание – это борьба с объятиями Томцака. Он пишет для него. Это единственная возможность не стать им.

Кругом мир Томцака – Вальзер пишет на кусках его мира, перекрывая своим текстом, подчиняя себе своими строчками: на формулярах налоговой инспекции, на конвертах, на телеграммах, на присланных из редакций отказах. Пишет таким почерком, что нормальному человеку не разобрать – Томцак поймет, что писатель хочет ему сказать.

Он не может писать 24 часа в сутки. Приходит ночь. Ночь ломает его, испытывает на прочность: ощущение всевластия творца сменяется чувством абсолютно ненужного ничтожества. Восторженность и счастье срывается в безысходность и депрессию. Сила и слабость писателя. Ему нет равных в силе. Но и в слабости тоже.

Когда перо останавливается – тьма перестает чувствовать сопротивление и надвигается, начинает оглушать голосами. Тогда остается только побег. Отсюда его отчаянные ночные многочасовые шатания. Его пешие прогулки среди ночи из Берна в Тун или Женеву далеки от наслаждения природой и меньше всего напоминают прогулки – это военные ночные марш-броски, попытки вырваться из вражеского окружения.

Борьбу против Томцака он должен вести в одиночку – у него нет никаких союзников, друзей, любимой, которые поддержали бы его. И он знает, что рано или поздно эту борьбу проиграет. Он должен будет смириться.

В последние месяцы перед катастрофой он ни с кем не общается.

В январе 1929 года Лиза получает срочное сообщение от квартирных хозяек Вальзера, сестер Хэберлин, с просьбой приехать как можно скорее. Из комнаты жильца раздаются крики. Он ведет себя более чем странно: сделал каждой из сестер предложение выйти за него замуж. Им страшно, что произойдет

что-то ужасное. Герр Вальзер, обычно такой тихий, сошел с ума. Они просят забрать этого сумасшедшего из их квартиры немедленно.

Сестра приезжает в Берн и идет с Робертом к знакомому психиатру Вальтеру Моргенталеру. Диагноз ставится на основании показаний Лизы, ее рассказа о болезни матери, о смерти в психиатрической клинике брата Эрнста, о “ненормальности” поведения Роберта. Врач выписывает направление в лечебницу Вальдау, ту самую, где умер Эрнст.

Вальзер понимает, что в одиночку он больше не справится. Днем еще он может продержаться, но ночи принадлежат голосам, зовущим из темноты. Он просит сестру взять его к себе. Она отказывает. Лиза настаивает на помещении брата в психиатрическую лечебницу. Временно. Там ему помогут.

Вальзер расскажет через несколько лет Карлу Зеелигу: “Прежде чем войти в ворота, я спросил ее: «Мы правильно поступаем?» Ее молчание сказало мне все. Что мне еще оставалось, кроме как войти?”.

24 января 1929 года в бернской клинике Вальдау принимают нового пациента. Дежурный врач заполняет формуляр под номером 10.428. Рубрика “Предварительный диагноз” остается пустой. В рубрике “Окончательный диагноз” он записывает: “Шизофрения”.

Швейцарская психиатрия – не палата № 6.

Вальзера ничем не лечат, но уже через несколько дней ему становится лучше. Его лекарство: не оставаться одному.

Он волен выходить за пределы клиники и гулять по городу. Он помогает садовнику, работает на свежем воздухе. В столовой убирает посуду.

Уже в феврале, через пару недель после поступления в лечебницу, он пишет сестре: “Припадков страха тут в клинике у меня больше не было… и я склоняюсь к предположению, что этот страх происходил из постоянного одиночества с самим собой”.

Ночи Вальзер проводит в общем зале, где больные спят под наблюдением дежурного персонала. Ему предлагают отдельную комнату. Он пробует спать в одиночестве и переживает две бессонные ночи, наполненные “жутким страхом”, как написано в истории болезни. Отныне он может спать только в общем помещении, когда рядом кто-то бодрствует и следит за ним. Как мама за больным ребенком.

Он снова начинает писать, ведет переписку с редакторами газет.

Его борьба продолжается. Свои письма он теперь подписывает

“Писатель Роберт Вальзер”. Переписка идет не на адрес больницы, а на последний адрес до поступления в клинику – Луизенштрассе, 14, где он снимал мансарду с крошечным окном под крышей. Ему не хочется, чтобы письма в редакции приходили из сумасшедшего дома.

Ему все еще кажется, что он тут добровольно. Он здесь, чтобы ему помогли. Он знает, что это временно, что он выйдет. Но когда врачи ставят вопрос о его выписке, становится очевидно, что ему некуда пойти. Соответствующий запрос посылается сестре Лизе – с просьбой взять брата к себе. Она отказывается. Это совершенно невозможно – у нее школа и слишком маленькая квартира. У нее нет ни места, ни времени, ни возможности им заниматься.

Для писания необходимо одиночество. Ему все еще кажется, что не все потеряно, он выйдет из больницы и снова начнет писать.

Но снимать опять комнату в городе, оставаться один на один с ночью, с голосами, зовущими в никуда, он не может и не хочет. Там его снова ожидают припадки страха, тьма Томцака, ужас существования без творчества, смерть души.

Он не может ни писать, ни не писать.

До смирения остается совсем немного.

Временное пребывание в лечебнице затягивается почти на четыре года. Окончательное решение все время откладывается.

Его проживание в Вальдау стоит больших денег. Собственные средства Вальзера заканчиваются. В семье возникает вопрос: кто будет платить за брата? Лиза со своей скромной зарплатой учительницы не считает возможным ни взять его к себе, ни оплачивать его существование в лечебнице. Братья Карл и Оскар считают, что Роберт здоров и вполне может вернуться в общество и сам зарабатывать себе на пропитание.

В 1933 году в клинику приходит новый директор Якоб Клэзи. У него свои планы на реорганизацию лечебницы, ему нужно освободить здание от старых пациентов. Вальзеру предлагают или покинуть клинику, “выйти на свободу”, или отправиться на курс трудотерапии в крестьянском хозяйстве.

Вальзер категорически отказывается. Он все еще надеется, что его заберет к себе Лиза. Она все решает за него. Ей кажется, что она находит приемлемый выход: отправить брата на попечение общины Тойфен. В этом городке на востоке страны родился их отец. В Швейцарии, независимо от места проживания, каждый человек всю жизнь остается гражданином общины, к которой были приписаны его предки, и община обязана заботиться о своих членах, если они неспособны обеспечить свое существование из-за болезни или старости.

19 июня 1933 года Вальзера без его согласия переводят в психиатрическую лечебницу Херизау в полукантоне Аппенцелль-Аусерроден, к которому приписан Тойфен.

Вальзер отказывается ехать. Он сопротивляется. Вступает в борьбу с двумя санитарами, которые хотят затолкать его в специальную машину. Скупая строчка в истории болезни: “С применением физической силы”. Вальзер кричит, пытается вырваться, ему скручивают руки, связывают.

В Вальдау руки выкручивают Вальзеру.

В Херизау доставляют Томцака.

Писателя Вальзера больше не было. За оставшиеся двадцать три года не будет написано ни строчки.

Его сломали. Он больше не писатель.

Пациент № 3561.

Теперь он делает то, что всю жизнь ненавидел, презирал и боялся, – ведет жизнь нормального человека.

“Пациент выполняет свою работу с прилежанием, чистотой и точностью”.

Остаток жизни он будет годами изо дня в день клеить бумажные мешки и конверты.

В лечебнице богатая библиотека, но пациент в свободное от работы время берет только подшивки иллюстрированных журналов и разгадывает все кроссворды до конца. Из книг он иногда перечитывает то, что читал в детстве, – швейцарских классиков и романы Жюля Верна.

Писательское чтение – это работа над будущими текстами. Он превратился в читателя: читает, чтобы убить время, затмить сознание, избавиться от самого себя.

Он ни с кем не вступает в контакт, никогда не разговаривает ни с другими пациентами, ни с персоналом клиники. С окружающими он ведет себя подчеркнуто вежливо, но если кто-то приближается к нему слишком близко, вежливость пропадает, он начинает нервничать и кричать: “Прочь! Отойдите!”

Ему много раз предлагают отдельную комнату – он отказывается. Все эти годы он спит в большом зале под присмотром ночного дежурного. В 20 часов там отключают свет.

С утра “спокойный пациент” снова возвращается к своей работе.

И так двадцать три года без каких-либо изменений.

Теперь он стал как все – это то, что весь мир от него всю жизнь добивался. Его жизнь была нарушением привычного порядка вещей – теперь он стал частью этого порядка, растворился в нем. Началось нормальное существование – он

окружен заботой, бытом, постоянными занятиями. Заведенная рутина нежизни.

В стареющее тело переселился Томцак.

Писатель всё про себя знает, что с ним случится в будущем. Вальзер всегда этого боялся. В романе “Якоб фон Гунтен” он когда-то написал: “Тогда я склоню голову. Руки и ноги странно обмякнут. Дух, гордость, характер, все сломается, станет увядать, и я буду мертв, но не совсем мертв, а так только, в некотором роде, и в таком состоянии я просуществую, умирая, еще, быть может, лет шестьдесят”.

В 1934 году за спиной брата Лиза оформляет опекунство над Робертом по болезни на старосту их общины.

В 1936 году снова встает финансовая проблема. Содержание в лечебнице стоит дорого, и Вальзера собираются перевести в приют для престарелых.

Опять возникает вопрос о том, чтобы Лизе Вальзер взять брата из лечебницы. Она пишет главному врачу клиники Генриху Хинриксену: “Взять Роберта ко мне в Бельлей я никак не могу. Я так устаю от работы с учениками, что не смогу выдержать постоянное напряжение в часы и после работы”.

Лизе за шестьдесят, и она боится, что ей не хватит ни физических, ни психических сил жить вместе с человеком, который ее всю жизнь “тиранил”. Она выходит на пенсию, она устала и хочет покоя.

Братья платить за Роберта по-прежнему не собираются, считают его совершенно здоровым.

Тогда в Херизау появляется Карл Зеелиг.

Неудавшийся поэт, неудавшийся писатель, неудавшийся издатель, плодовитый журналист. Автор биографии Альберта Эйнштейна, переводчик с итальянского биографии Модеста Мусоргского. Всю жизнь он собирает автографы знаменитостей. Зеелиг обратится за автографом даже к Борису Пастернаку, когда тот станет лауреатом Нобелевской премии. Собранная Зеелигом коллекция хранится в фондах Центральной городской библиотеки Цюриха.

Карл Зеелиг, единственный сын и наследник богатого фабриканта, меценат многих швейцарских авторов, помогает немецким писателям, эмигрировавшим из нацистской Германии. Он приходит на помощь семье Вальзер и оплачивает пребывание в лечебнице пациента № 3561. Нужно отдать ему должное – он один из немногих в то время, кто понимает, о писателе какого уровня идет речь.

Зеелиг начинает регулярно приезжать в Херизау два раза в

год по воскресеньям и ходить с тем, кого он считает великим писателем, на прогулки по окрестностям.

От Лизы Вальзер он получает хранившийся у нее архив брата. В коробках из-под обуви. В основном это неразобранные микрограммы. Для нее они являются явным доказательством его сумасшествия.

Карл Зеелиг не может расшифровать каракули. Что это? Тайнопись? Или действительно свидетельство о помрачнении ума их автора? Он постарается, чтобы эти бумаги никому не попались на глаза.

Зеелиг заботится о переиздании книг Вальзера и хочет напечатать сборник с рассказами, вышедшими в разных газетах.

К публикациям текстов Вальзера пациент клиники Херизау не проявляет никакого интереса. Зачем? Какое он имеет к этому отношение?

Зеелиг просит помочь выбрать куски прозы для сборника, но получает отказ: печатайте что хотите.

Книга "Большой маленький мир" (*"Grosse kleine Welt",* 1937) выходит с подборкой, сделанной Карлом Зеелигом. В рецензии на публикацию Стефан Цвейг пишет в 1937 году: "Миниатюрист *par exellence*, тонко чувствующий, трезво мыслящий и в то же время обладающий чувством юмора, он создает в своей абсолютно непретенциозной и бесхитростной манере безупречно исполненные прозаические жемчужины, каждая из которых имеет стихотворную завершенность и чистоту. Будучи уникальным явлением, он не вписывается ни в какую группу, никакую категорию, никакое сообщество – чудак самой чуткой и самой странной натуры, и эта особенность находит свое незабываемое выражение в каждой строчке, каждом предложении, которое он пишет".

В другой рецензии критик Хайнц Политцерс сравнивает Вальзера с Паулем Клее: "При чтении этой книги возникают ассоциации со швейцарцем Паулем Клее, который создает странные и незабываемые фигуры, являющиеся по глубинной сути своей автопортретами".

Зеелиг привозит рецензии в Херизау, но его подопечный не проявляет к ним никакого интереса.

Братья и сестры Вальзер, разбросанные по миру, собираются к концу жизни снова в Швейцарии.

Сестра Фанни, уехавшая с мужем в 1926 году в Латвию, где он был управителем имения, чудом вырывается из советской зоны оккупации в 1940 году. Спасает швейцарский паспорт.

В 1944 году на просьбу умирающей от рака сестры Лизы

приехать к ней в Берн пациент лечебницы Херизау не отзовется. Может быть, Лиза хотела попросить у него прощения? В одном из писем Карлу Зеелигу она написала: “Его тяжелая судьба грузом лежит на мне”.

Узнав о смерти сестры, он отреагирует нейтральным *“so-so!”* Так-так!

Такая же реакция будет на смерть брата Карла. *“So-so!”*

Когда Карл Зеелиг выразил желание стать опекуном больного, и Лиза, и Роберт были против. Из письма директора клиники Херизау брату пациента Оскару Вальзеру в мае 1944 года: “Ваш брат выразил во время сегодняшнего визита пожелание не иметь никакого другого опекуна, особенно он против опекунства господина Зеелига”.

После смерти Лизы Карл Зеелиг оформляет необходимые бумаги и становится опекуном втайне от своего подопечного.

Карл Зеелиг намеревается писать биографию Вальзера, собирает для нее материалы. Записывает после прогулок содержание бесед.

“Прогулки с Робертом Вальзером” выйдут сразу после смерти пациента лечебницы Херизау. Аутентичность записей слов Вальзера невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Вальзер, очевидно, кажется Карлу Зеелигу – и с полным правом – билетом в вечность, и Зеелиг не собирается этим билетом ни с кем делиться.

Он всячески оберегает своего подопечного от контактов. Еще весной 1938 года Герман Гессе высказывает пожелание посетить Вальзера, одного из своих любимых писателей, в Херизау. Зеелиг, очевидно, так болезненно реагирует на это, что Гессе в следующем письме вынужден успокоить его: “Посетить Вальзера не входит в мои планы”.

Весной 1954 года Вальзера в Херизау посещает молодой психиатр из Берна Теодор Шперри. Независимый врач, наблюдавший Вальзера, не верит в шизофрению писателя и заводит с пациентом разговор о его произведениях. Они разговаривают несколько часов.

После этого случая по распоряжению Зеелига, к его подопечному перестают пускать посетителей.

В своем завещании Карл Зеелиг распорядится, чтобы находящийся у него архив Вальзера, включая все собранные Зеелигом документы, касающиеся жизни и творчества писателя, были сожжены.

В огне должны были погибнуть все нерасшифрованные микрограммы.

Писатель Роберт Вальзер и его неопубликованные тексты –

сотни рассказов, роман “Разбойник”, стихи – должны были исчезнуть вместе с Карлом Зеелигом.

У истории литературы собственные законы: там принято сжигать свои книги, а не чужие. Чужие рукописи не горят – только свои.

В феврале 1962 года, спустя шесть лет после смерти Вальзера, Карл Зеелиг объявит о выходе в скором времени первого тома биографии писателя.

Через шесть дней, в четверг, 15 февраля, в 17 часов от остановки на площади Бельвю в центре Цюриха станет отходить трамвай маршрута номер 15. Пожилой человек прыгнет на ступеньку уходящего вагона. Поскользнется. Упадет между бордюром тротуара и вагоном. Несмотря на экстренное торможение, трамвай протащит его еще несколько метров.

Карл Зеелиг умрет по дороге в больницу.

В Рождество 1956 года дети, катавшиеся на санках недалеко от Херизау, нашли в сугробе мертвого старика.

На белом снежном поле его тело напоминало букву какого-то нездешнего алфавита на пустом листе бумаги.

Он сам стал своей последней буквой.

Вальзер описал свою смерть в разных текстах. В его первом романе, “Семейство Таннер”, главный герой, Симон Таннер, находит в заснеженном лесу мертвое тело молодого поэта Себастиана.

“Какой чудесный покой, вот так лежать и цепенеть под еловыми ветками в снегу”.

Писатель знает все про свое будущее, потому что видит его не из настоящего, а со стороны, сделав шаг туда, где смерть – это не только слово.

2013

В лодке, нацарапанной на стене

Создавая реальность, язык судит: казнит и милует. Язык является сам себе приговором. Подавать на апелляцию некуда. Вышестоящие инстанции невербальны. Писатель, даже еще ничего не написав, уже, как Лаокоон, скручен змеем языка. Чтобы объяснить что-то, нужно от языка освободиться.

Отъезд из языка, потеря русского журчания в ушах заставили остановиться, замолчать. При редких встречах писатели из России удивлялись: “Как ты можешь писать в этой скучной Швейцарии? Без языка, без напряжения?”

Они правы – у русской словесности повышенное давление. Да и язык там меняется быстро.

Отъезд из русской речи меня к ней же и обернул. Работа над текстом остановилась. Как пауза – часть музыки, так молчание – часть текста. Может быть, самая важная.

Какой язык я оставил? Что я взял с собой? Куда идти словам дальше? Работа молчания.

Чтобы идти дальше, необходимо было понять, в чем, собственно, суть писания по-русски.

Будучи одновременно творцом и тварью отечественной действительности, русский язык является формой существования, телом тоталитарного сознания.

Быт всегда обходился без слов: мычанием, междометиями, цитатами из анекдотов и кинокомедий. Связные слова нужны власти и литературе.

Русская литература – способ существования в России нетоталитарного сознания. Тоталитарное сознание с лихвой обслуживалось приказами и молитвами. Сверху – приказы, снизу – молитвы. Вторые, как правило, оригинальнее первых. Мат – живая молитва тюремной страны.

Указ и матерщина – это отечественные инь и ян, дождь и поле, детородный орган и влагалище. Вербальное зачатие русской цивилизации.

На протяжении жизни поколений тюремная действительность вырабатывала тюремное сознание. Его главный принцип: “сильнейший занимает лучшие нары”. Это сознание выражалось в языке, который призван был обслуживать русскую жизнь, поддерживая ее в состоянии постоянной, бесконечной гражданской войны. Когда все живут по законам лагеря, то задача языка – холодная война каждого с каждым. Если сильный обязательно должен побить слабого, задача языка – сделать это

словесно. Унизить, оскорбить, отнять пайку. Язык как форма неуважения к личности.

Русская реальность выработала язык оголтелой силы и унижения. Язык Кремля и лагерный сленг улицы имеют одну природу. В стране, живущей по неписаному внятному закону – место слабейшего у параши – наречие адекватно реальности. Слова насилуют. Опускают.

Были бы границы на замке, не было бы никакой русской литературы…

В XVIII веке вместе с идеей человеческого достоинства пришел литературный язык. Для него не было слов. Первый век отечественной литературы – это, по сути, переводы и подражания. Для выражения индивидуального сознания не было словесного инструмента. Его нужно было сперва создать. Русский учили как иностранный и вводили отсутствовавшие понятия: общественность, влюбленность, человечность, литература.

Русский литературный язык, являясь формой существования, телом человеческого достоинства в России, втиснулся в трещину между окриком и стоном. Русская литература вклинилась в чужие объятия. Из слов построила великую русскую стену между властью и народом.

Чужеродное тело.

Колония европейской культуры на русской равнине, если под европейской колонизацией подразумевать смягчение нравов и защиту прав слабых перед сильными, а не завоз немцев-пушкарей.

Как это бывает и на других континентах, колония в своем развитии обогнала метрополию. Тургенев, Толстой, Достоевский – все это колонисты, которые своими текстами перенесли столицу литературы из Старого Света в Россию. Взяли все лучшее из тысячелетнего наследия и – *go east!*

Но неладно все в русском царстве, и время от времени власть и народ прорываются друг к другу, и тогда плохо чужеродцам. И писательские кости трещат в этих объятиях: либо умереть, либо выскользнуть.

В XX столетии наступили известные события. Туземное население вновь вернулось к привычному “литературному процессу”: сверху – приказы, снизу – молитвы. Одни “колонисты” вернулись на историческую родину, другим, кто остался, дикари вырвали языки.

Придуманный язык советской утопии и был телом ее существования. Придуманная мертвая реальность социализма существовала только в адекватном мертвом языке газет, телевидения и собраний. В 1990-х, когда вместе с режимом исчез обслуживавший его язык, лагерная феня поднялась вверх – и

заполнила опустевшее пространство.

Опять власть и народ говорят на одном наречии и мочат чеченцев, да и всех, кто подвернется, в сортире.

Тоталитарное сознание сегодня живет в языке телевидения, где главный принцип ведения диалога – перекричать другого. Это язык газет, пожелтевших до рвоты. Это язык улицы, где мат стал нормой.

Язык русской литературы – ковчег. Попытка спастись. Круговая оборона. Островок слов, на котором должно быть сохранено человеческое достоинство.

Уехав из России, я потерял тот язык, который хотел потерять. Изменения в современном русском языке – это линька. Шерсть вроде другая, а окрас тот же, узнаваем до боли. Этот язык, призванный опускать, воспроизводит с каждым поколением русских мальчиков и девочек сам себя. Литературный язык сам по себе не существует, его нужно каждый раз создавать заново и в одиночку.

Оказавшись в Швейцарии, я прежде всего должен был понять, кто я и где я. Понять что-то для меня значит написать об этом книгу. Получилась “Русская Швейцария”. С помощью этой книги я через Швейцарию попытался понять что-то о себе и стране происхождения.

Эту книгу я не хотел писать, я хотел ее прочитать. Книга родилась из ощущения огромного количества дыр в швейцарском пейзаже. Горы и банки были на месте, но не хватало чего-то более существенного. Чужая страна останется чужой, пока не найдешь себе здесь родных и близких. Я стал искать Гоголя и Бунина, как бедный провинциал разыскивает в большом городе богатых родственников. Я просто собирал по крупицам, что было здесь с Толстым и Скрябиным, шел по следам известных художников и неизвестных путешественников, студентов и ученых, царей и революционеров, и у меня получалась история моей страны, моей России, которой нет. В этой моей стране поселились между строк и мои умершие родители, и все мои безымянные тамбовские предки, которые секли и были высечены, расстреливали и были расстреляны. Я хотел просто составить “литературно-исторический путеводитель”, а получился роман о русском мире – только в нем, в отличие от традиционного романа, непридуманные персонажи проживают свои непридуманные жизни, вернее сказать, придуманные не мной.

В книге мало реальной Швейцарии, речь идет скорее о каком-то странном одноименном образовании, которое существует в пространстве русского культурного сознания.

Из всех придуманных в России Западов есть самый придуманный – это карамзинский запад-рай. Его придумали в XVIII веке немецкие и французские учителя в русских поместьях в окружении рабов. И Карамзин, прилежный ученик, сделал символом этого Запада Швейцарию. Это он в своих швейцарских письмах, написанных в России, бросается на колени на берегу Рейна под Базелем и восклицает: “Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу?”

Этот “просвещенный” вариант Запада придуман от обратного. Если Россия живет по принципу “ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак”, то там – республика, равенство, выборы и проч. Если в отечестве “трудом праведным не построишь палат каменных”, то там праведный труд и приводит к своему домику “с аистом на крыше”. Если на родине тебе что-то принадлежит только до тех пор, пока кто посильней не захотел у тебя это отнять, то там частная собственность священна, и крестьянин может быть уверен, что его лужайка будет принадлежать его потомкам и через десять поколений.

Получилась книга о затянувшейся борьбе русских идей, о бесконечной отечественной разборке, о вечных баррикадах на улицах пресловутой русской души.

Когда возник вопрос о переводе “Русской Швейцарии” на немецкий, вдруг обнаружилось, что эта книга по-настоящему существует только вместе с моим русским читателем. Любая сказанная по-русски фраза ставит тебя на ту или иную сторону баррикад. А при переводе не то что ассоциации с аллюзиями исчезают – половина имен уже требует пояснений, и совсем непонятно: а где же баррикады? Можно перевести слова, но нельзя перевести читателя.

Чтобы построить свой русский литературный ковчег, нужно стать отшельником. Уйти. Неважно куда – в Альпы или в себя. Взять с собой только прожитый опыт любви и утрат и десять веков кириллицы.

Чтобы знать направление слов, нужны две точки, через которые можно провести линию движения. Одна точка – это все, что было написано до тебя по-русски, начиная со славянского перевода Писания. Вторая точка – это ты сам со всеми твоими потрохами и любимыми людьми.

Чтобы сказать что-то новое, нужно чувствовать в себе века традиции. Если где-то на электростанции нажать на кнопку, то в

окнах городов замигает свет. Так в литературе, если написать слово, оно отзовется во всех уже существующих книгах, независимо от того, прочитал ты их или нет.

Литературная традиция – живое существо. Растение.

По стволу идут соки к веткам. XIX век – это ствол русской литературы. Потом разветвление. Каждое новое поколение писателей – листва, которая к осени опадает. Но некоторые побеги продолжают собой ветвь. И, в отличие от заоконной листвы, писатели могут сами выбирать себе ветку. Важно найти ту главную ветку, которая тянется вверх, которой дерево растет в небо.

Чехов. Бунин. Набоков. Саша Соколов.

В моих текстах я хочу связать западную литературу, ее достижения в словесной технике с человечностью русского пера. Джойс не любит своих героев, а русские писатели любят. Русский герой – Акакий Акакиевич. Хотя любить его совершенно не за что.

Слова – материал для дороги. Самой главной и самой далекой. На “историческую родину” – к началу начал. “В начале была любовь. Такой сгусток любви. Вернее, даже не любовь еще, а потребность в ней, потому что любить было некого. Богу было одиноко и холодно. И вот эта любовь требовала исхода, объекта, хотелось тепла, прижаться к кому-то родному, понюхать такой вкусный детский затылок, свой, плоть от плоти – и вот Бог создал себе ребенка, чтобы его любить: Ниневию”. Роман – это возможность найти дорогу к той самой перволюбви. Автор для героев – Бог. Читатель идентифицирует себя с героем. Если автор любит своего Акакия Акакиевича, которого и любить-то не за что, то и читатель чувствует, знает, что Бог – существует и любит его, хотя и не за что. Просто так. Как своего ребенка. Вот слова и нужны, чтобы вымостить дорогу к этому чувству.

Но любая дорога со временем приходит в негодность – рытвины, ухабы. Язык стирается. Дорога, по которой прошли поколения, становится непроезжей. Зарастает пустословами. Нужно прокладывать новую. “Очередной роман” пишется стертым языком, уже никуда не ведущим. Чтобы добраться до цели, нужна новая дорога, новый способ складывания слов.

Мне было пятнадцать лет, когда я в первый раз хотел объясниться в любви. Я не смог произнести ни одного слова, онемел. Вдруг остро ощутил всю ложь слов, их предательство. То, что я чувствовал, было совершенно невозможно вместить в глупые, дохлые слова. Тогда я впервые осознал, что все слова мертвы, а язык – это средство непонимания.

Наверно, с этого откровения, что словами ничего нельзя

выразить, начинается творчество. Все важное происходит вне слов. И это важное, внесловесное, нужно перевести на язык музыки, или красок, или языка. Писателю ничего не остается, как совершить чудо и воскресить мертвые слова, сделать их снова живыми. И только этими ожившими словами получится говорить о любви.

Для меня единственный способ воскресить слова – писать неправильно. Я принюхиваюсь к каждой фразе, и если она попахивает пособием “Правильно говорим и пишем”, я ее вычеркиваю. Сказать что-то правильно значит не сказать ничего. Правильные слова, испустившие дух, обозначают что угодно, только не то, что хочешь сказать, и вызывают чувство брезгливости, как чужая замызганная зубная щетка или женщина общего пользования.

Каждое новое поколение живой прозы – это просто другой путь, что приводит туда, где каждого из нас любят и ждут. Традиция заключается в том, чтобы найти язык новой внятности и написать классический русский роман сегодня: роман о любви, о том, что Бог будет всегда жалеть Ниневию, о преодолении смерти, которая и есть граница между людьми.

“Взятие Измаила” – роман о взятии жизни, о преодолении смерти собиранием “коллекции слов” и рождением ребенка. Мир романа строится из первочастиц более сущностных, нежели фиктивные биографии. Обрывки фраз путаются, потому что не может быть связным бормотание, которое доносится из предбанника Страшного суда. Там уже нет “целых” физических тел, но еще есть боль, радость, страх, любовь, одним словом, ощущение жизни. Человека уже нет, но еще сохранилось его дыхание. Я собираю человеческое дыхание.

В языке есть прошедшее и будущее грамматическое время, но нет ни прошедшего, ни будущего. Время в пространстве слов прокручивается, как гайка с сорванной резьбой. Время можно открыть на любой строчке. Сто раз открывай первую строку – сто раз будешь заставлять Его сотворять небо и землю и носиться над водою. Вот и сейчас носится.

Измаильский меридиан проходит по русской словесности и по моей жизни. Книга начинается в русской литературе и заканчивается рождением моего сына в кантональной больнице в Винтертуре. В Швейцарии я перерезал пуповину ребенку и роману.

Время слов, помноженное на пространство слов, дает стиль. Общепринятой романной единицей является персонаж. В “Измаиле” персонажем является стиль. Несущей конструкцией

текста является царапание стилей, которое играет роль, традиционно отводимую конфликтам между добром и злом, волей героя и роком, человеческим кулачком и медным всадником и т. д. Героями, отстаивающими каждый свою картину мира, становятся стили. Царапаются не края фраз, но края мироощущений.

“Взятие Измаила” – объяснение в любви к монструозному отечеству. Поэтому роман оказался слишком закупоренным, слишком русским.

Но отъезд помогает понять, что царь Ирод, убивающий детей, – это вовсе не география, это время.

Значит, нужно было написать другой роман. Говорить о таких вещах и так, чтобы написанное было внятно и эллину, и иудею. Пять лет жизни ушло на “Венерин волос”.

Приехав в “скучную” Швейцарию, где вроде бы не о чем писать, я окунулся в Россию. Я работал переводчиком в службе миграции, переводил интервью с беженцами из бывших братских республик. Я переводил слова на судьбу. Нестрашных историй там не рассказывают. Герой романа, “министерства обороны рая беженской канцелярии толмач”, оказался переводчиком между двумя мирами. Интерфейсом между двумя несовместимыми системами.

Что было на так называемом самом деле – никто никогда не узнает. Но рассказанные истории, слова создают свою реальность. Важны детали. Слова рождают действительность и решают судьбу.

Безвестные писатели написали под четырьмя евангельскими псевдонимами книгу, которая сделала мир таким, какой он есть. Их слова создали ту самую реальность, в которой мы живем две тысячи лет – просто слова должны быть достоверными, достойными веры. Не было бы детали с печеной рыбой, которую он ел, проголодавшись после смерти на кресте, и вложенным в рану пальцем, мир не стал бы христианским. Слово становится реальностью. И мы сами – только часть этой реальности.

Пишущий – связка между двумя мирами: между нереальным миром жизни, где все текуче, мимолетно, смертно и исчезает без следа, как только что прошмыгнувшая секунда или как тысячи прошмыгнувших поколений – и миром достойных веры слов, которые вспрыскивают элексир бессмертия и той печеной рыбе, и тому пальцу. И тому живому, несмотря на смерть, человеку, чьи ноги бросились обнимать обе Марии.

Если не превратить жизнь в слова – ничего не будет. Язык – единственное средство воскрешения. Сказано: “И словом был

создан мир и словом воскреснем.”

Венерин волос – это растение, *adiantum capillus-veneris*. Где-нибудь на юге, в Риме, в Вечном городе, где завязываются узлом все линии романа, это сорная трава, а в России зимой без человеческой любви и тепла оно погибнет. В романе это растение становится богом жизни, хрупкой и всесильной. Венерин волос рос на семи холмах до мимолетного вечного города и будет расти после.

Есть легенда об узнике, приговоренном к пожизненному заключению в одиночке. Он годами черенком тюремной ложки царапал на стене лодку. И вот однажды ему принесли, как обычно, воду, хлеб и баланду, но камера оказалась пустой, а стена чистой. Он сел в свою нацарапанную лодку и уплыл.

Роман – это лодка. Нужно так оживить слова, чтобы лодка стала настоящей. Чтобы в нее можно было сесть и уплыть из этой жизни-одиночки туда, где нас всех любят и ждут.

2008

Спасенный язык

Должно было пройти немало времени после переезда с Пушки в кантон Цюрих, чтобы странное ощущение нереальности, карнавальности происходящего незаметно сменилось на робкое удивленное доверие, мол, действительно, все без обману: поезда не игрушечные, пейзаж не нарисован, люди не подсадные.

Сразу после смены декораций стал дописывать начатый в Москве роман, а ничего не получалось. Буквы, которые выводил там, здесь имеют совсем другую плотность. Роман получался о чем-то другом.

Границы, расстояние, воздух делают со словами чудеса. Очевидность, натуральность любого русского звукосочетания на Малой Дмитровке не пропускается сюда таможней. Лишенные там самостоятельного существования слова здесь будто приобретают вид на жительство, из средства становится субъектом словесного права. Любое русское слово звучит здесь совсем не так и значит совсем не то. Так, наверно, в театре смысл любой сказанной фразы изменится, если поменять декорации.

На берегах Лиммата будто другая сила тяжести, всякое слово из русской чернильницы весит много больше, чем в стране – поставщике русской речи. То, что в России разлито, разбросано в атмосфере, в осадках и харях, в “Грушницкий – юнкер”, в чеченской войне, в “Христос воскресе из мертвых” – здесь все сосредоточено в каждом слове, записанном кириллицей, упихано, утрамбовано в каждую Ы.

Исчезая с каждым днем все сильнее из реальности, отечество ищет себе новых носителей и находит таковых в закорючках экзотического алфавита. Россия со всем своим скарбом переселилась в шрифт. Буквы, как некогда квартиры, уплотнили для новых жильцов.

Приехав в первый раз в город Джойса, я направился сразу с вокзала на кладбище Флунтерн. Трамвай был полон до самой конечной. У кладбища все сошли и направились вместе со мной по дорожке между надгробиями в сторону, куда указывала стрелка “К Джеймсу Джойсу”. Мне стало не по себе. Чем ближе мы подходили к джойсовой могиле, тем многочисленнее становилась процессия. Место захоронения окружала уже плотная толпа – это в будний-то день и при отсутствии какого-либо юбилея.

Я всегда предполагал, что автор “Улисса” более почитаем на Западе, чем на моей родине, но такое…

Потрясенный, я искал какого-то подвоха. И увы, сразу нашел: хоронили Элиаса Канетти, завещавшего закопать себя рядом с великим слепцом.

Свой “Спасенный язык” Канетти начинает с первого детского воспоминания. Двухлетнего, его пугает некто (как через много лет выяснится – любовник няньки), лязгая перочинным ножом и злодейски шутя: “А вот мы сейчас отрежем ему язык!” Страх остаться без языка будет преследовать ребенка, подростка, юношу, писателя многие годы и всю жизнь.

Что-то подобное испытал и я, увидев на щедро размалеванном заднике Альпы. Страх остаться без языка. Кругом лязгал швицердюч.

Потом все стало на свои места.

Собственно, все просто: я должен был спасти свой язык. Мой язык должен был спасти меня. Я стал писать роман сначала, но уже по-другому и о другом.

Просто стало как-то очевиднее, что нужно писать чисто и ясно.

Наречие, лишенное артиклей и богатое падежами, как скота, так и людей, рассчиталось “на первый-второй” и построилось в две шеренги: переводимое и непереводимое. Причем и переводимое при переводе не столько переводилось, сколько, скорее, мутировало.

Скажешь любое слово, самое безобидное, самое объективное, например: наука. И начинается непонимание. Одно дело ученый здесь занимается земельными отношениями в XV веке в кантоне Гларус, где и спустя 500 лет та же земля принадлежит той же семье. И совсем другое дело вопрос о частной собственности на землю там, где такая наука – масло в огонь будущей гражданской войны.

И так любое слово в словаре.

Опыт языка, прожитой им жизни, делают языки с разным прошлым не сообщающимися сосудами. Прошлое, живущее словами, не поддается переводу, то самое русское прошлое, которое никогда не факт, но всегда аргумент в бесконечной махаловке.

И каждое слово по отдельности и все вместе – только усугубляют невозможность межъязыкового понимания, горизонтальной коммуникации.

Задача языка – после Вавилонской башни – и заключается в непонимании.

Искусство русской речи имеет свой закупоренный аромат, присущие только веществу русской литературы ингредиенты. Можно перевести рассказ о первом и последнем дне Блюма на русский язык, но это вещество отечественной словесности текст Джойса отторгает. Кровь слов сворачивается. “Русский Улисс” может быть только “с человечкиной душой”.

Студенты цюрихского славянского семинара читают Хармса (со словарем и восхищением), но это не тот Хармс. Швейцарский Хармс о чем-то другом. Наш – однояйцевый близнец того же Платонова. Их слова, выброшенные на альпийский ветер, звучат в русском веществе чисто и ясно.

Обериутский абсурд – развитие башмачкинского реализма в стране, где война и выбрасывание старух из окон есть просто образ жизни. Самый абсурдный и хармсовый текст поневоле становится тем самым рупором, через который старухи что-то вякают перед тем, как шмякнуться об асфальт.

Эта болезнь здоровая, и с ней можно дожить до самой смерти. Причины ее отчасти в генетической предрасположенности, отчасти в родовой травме.

Достаточно бросить взгляд на этапы большого пути отечественного бумагомарания. Сперва погоны, ленты, оды на восшествие. Потянув лямку, в общем-то совсем недолго, русская словесность вышла в отставку. И, начитавшись на досуге и прозрев, вспухла от ощущения собственной значительности. И завернулась в гоголевскую шинель, как в тогу. Отныне и далее всякого пишущего по-русски серафимы, подкараулив где-нибудь на пустыре или Воробьевых горах, били по яйцам, выкручивали руки, рвали – по Далю – мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубам пищи, и шептали: Восстань, виждь, внемли и жги!

В соответствии со вкусом эпохи и зловонием обстоятельств, пророк может обнаружить себя где угодно – хоть гонящим из-под нар романы уркам. И это ничего не может изменить в его статусе: данное серафимом только серафимом и возьмется.

Язык времени, самый заблеванный и самого заблеванного, способ описания действительности, самый абсурдный, самая изысканная игрушечка и безделица ничего не могут изменить в отношениях между шестикрылым, тоже в свою очередь посланным кем-то, и пишущим по-русски.

Можно думать лишь о вкусе слов, но невозможно при всем желании нарушить должностную инструкцию. Так природа все за человека придумала: он думает о сладостном трении гениталий,

а получаются дети. Пророк думает о сладостном ворочании языка, а серафим вкладывает в кириллицу суть, смысл, дух, глубину. Писал о старухах, вываливающихся из окна, а получилось о конце света и единственной возможности спасения: полюбить, покаяться.

Но горизонтальная коммуникация невозможна и внутри одного языка. И говоря по-русски невозможно понять друг друга. Юровский зачитывает в подвале приговор, а доктор Боткин не понимает. Или, к примеру, Пастернак и Хрущев. Или тот, кто вышел с плакатом против войны, и народ. А в набитом автобусе? А на опостылевшем супружеском ложе?

Как придать речи необходимую для понимания чистоту и ясность? И дело вовсе не в косноязычии. Косноязычие, начиная с “мама мыла раму” и через передовицу о врагах народа или “обзор тусовок” – к Бродскому, собственно, и есть единственно возможная форма существования языка. И изящная словесность – лишь одно из проявлений косноязычия.

Просто надо найти язык особой косности, на котором можно что-то объяснить. Сказать и быть понятым.

Правильность приема зависит от правильности кода. Но все в языке само по себе направлено на то, чтобы запутать код, усложнить понимание, язык изначально строит бесконечные границы, ограничения, вносит несусветную путаницу.

Поиск кода понимания приводит к новой косности. Границы сужаются, стены растут стремительно. Пространство понимания сворачивается и приводит к логическому завершению.

Для кого, собственно, пишутся “Поминки по Финнегану”? Роберт Вальзер записывает текст за текстом все уменьшающимся почерком, уходя вместе с буквами в бесконечность.

И если смысл языка все же в коммуникации, то тогда кого и с кем?

На каком языке понимали друг друга Франциск и птицы? Или, скорее, вопрос нужно поставить по-другому: с кем пересвистывался босоногий из Ассизи?

Босс фирмы “Интел” как-то сказал, что им никогда не превзойти Создателя и человек всегда останется лучшим чипом мироздания.

Процессор остается мертв без живительного кода. *User’y* для установления контакта с железякой необходимо программное

обеспечение.

Выпущенный в мир человек получает язык для возможности вертикальной коммуникации.

Что-то же должно превращать горящие заросли колючек – подумаешь, каждое лето леса горят, – в неопалимую купину.

Для смертных язык – единственная форма существования Пользователя. И представляет таким образом тварь и Творца одновременно.

Вальзер удивился бы упреку в неразборчивости написанных им букв, которые к концу съежились до размера точки. Джойс не сомневался во внятности “*Finnegans Wake*”. Оба сказали чисто и ясно то, что хотели сказать, и были поняты.

“По сем взяли священника пустынника, инока схимника, Епифания старца и язык вырезали весь же; у руки отсекли четыре перста. И сперва говорил гугниво, по сем молил пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языка московский и здешний на воздухе: он же, один взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретеся во рте”.

2001

Человек как объяснение света в любви

Даггер оживил голову Медузы. Посмотревший в объектив навсегда оставался окаменелым.

Бодлер был оскорблен изобретением фотографии, которую – из-за ее реализма – публика сразу же сочла

наивысшим искусством. Фотография изгоняла воображение. Между реальностью и результатом исчезал тот, кто искажает реальность собой, – художник. Оставался бездушный медузий глаз – линза.

Новая ересь от искусства прельщала именно своим обещанием оставить смотрящего в объектив навсегда. Выкрасть у времени принадлежащее только ему. Увековечить живое, задержать на его пути к исчезновению. Казалось, что это уже не химия, но магическая алхимия – серебряная пыль собирается в складки живого лица, сохраняя неповторимую сиюминутность.

И здесь надули. То, что призвано было схватывать жизнь, хватало обратное.

Однажды в детстве я приклеивал вместе с дедом, любителем порядка, новые фотографии в семейный альбом. Дед, уже зная о своей болезни, подбирал фотографию себе на памятник. Отобрал одну и дал моей маме, чтобы она отложила до того времени, когда понадобится. Помню то впервые испытанное странное чувство – жалости и страха, что уйдут любимые мной люди. Вот мой дед, живой, в нагрудном кармане у него трофейный перочинный ножик, которым он очень дорожил, и мне иногда разрешал чинить карандаши, и вот дед еще здесь, но одновременно его уже нет. Та фотография стала посланцем, полномочным представителем его смерти. Будущее перестало быть будущим – время вывернулось наизнанку, как носок. Но еще страшнее было то, что к его смерти примешалась моя собственная, непредставимая, далекая и потому несуществующая, до которой, как мне думалось, еще пять-шесть вечностей, или, что то же самое, целая жизнь. Но с точки зрения моих собственных детских фотографий в том альбоме моя смерть уже как бы свершилась.

Опыт заранее прожитой жизни. С таких минут по-настоящему начинается ощущение времени.

Когда я увидел памятник на кладбище в Малаховке, я впервые остро испытал ложь фотографии. Дед смотрел на меня еще живой, в кармане на груди у него был тот самый перочинный

ножик, но на самом деле дед имел только поверхность, керамически монолитный внутри, он принадлежал другому миру, где нет разницы между сердцем и ножичком.

Сохраняя, фотография умерщвляет. Следы стирают событие. Пересматривать фотографии ушедших – не обретение, а повторная утрата. Фотография схватывает и сохраняет лишь кожу вещей.

Задуманная как справка о наличии реальности, сертификат настоящего, мол, так и было на самом деле – она одновременно стала подтверждением, что этого уже никогда не будет, что никакого “на самом деле” не существует. Свидетельство о жизни является одновременно заверенной справкой о том, что живому предстоит умереть. Последний билет, ваучер в смерть.

Фотография – то зеркало, в котором мы видим собственное отсутствие. Это я, только не я, неживой, моя оболочка без меня. Посмертная маска, приготовленная заранее. Фаюмский портрет эпохи серебряных фотопластинок и мегапикселей.

Блаженный Августин назвал Бога как творца времени термином, звучащим для наших ушей “фотографически”, – оператор. Запуск времени есть одновременно запуск смерти, как запуск механизма таймера влечет за собой отсроченное срабатывание затвора.

Первое восстание людей против Бога было восстанием против смерти: Вавилонская башня как реакция на полученный опыт массового уничтожения. Забравшись на башню до неба, люди могли бы спастись от следующего потопа. Победить смерть – попытка столь наивная, что даже камни, братья людей по Отцу, отказались участвовать в этой авантюре – пришлось изобретать кирпич.

Второе восстание – искусство – учло ошибки первого. Теперь человечество поднялось против первопричины смерти – против времени. Остановка времени – это остановка смерти, устранение ее причины, отключение ее спускового устройства.

Каждый день делатель времени творит жизнь, сиюминутность, тут же превращая настоящий миг в ничто, будто крутит ручку настольной гильотинки, отрезая голову каждой секунде. Все просто: нужно положить свою руку на руку того, кто крутит ручку. Остановить делателя и палача времени. Собрать и сохранить то особенное спасенное время – настоящее, превращенное во всегда – упаковать во что-то прочное и отправить в никуда до востребования.

Фотография не убила фигуративную живопись, но ускорила

понимание, что пространство искусства – в той самой искажающей силе, что искать надо в несоответствии изображения оригиналу, в том самом зазоре, дыре, которую надо заполнить собой.

Для “искажения” у фотографии коварный исходный материал – видимая реальность неподатливей, чем слово или камень. И еще коварнее легкость воплощения: нажал на кнопочку – и уже готов образ. Мать с ребенком, смертный на улице, старик, война, дерево, женщина. Установил *software* – и играй не хочу. Игра идет всего лишь со светом, но ставки царские. Можно выиграть весь мир, а можно проиграть себя.

По-гречески *photos* – “свет”, *grapho* – “пишу”. Фотография – это письмо светом. Фиксируется неравномерно испускаемый объектом свет. Каждая тварь испускает свет. Когда-то его можно было запечатлевать на серебряной фотопластине, а теперь пиксели растаскивают, спасают эти крупинки света, как муравьи – яйца.

Письмо светом. Но что писать? И зачем? И чьим светом?

Художник, как герой сказки “Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что”, единственный знает, куда идти и что искать. Он способен увидеть то, что есть, но без него неразличимо, невидимо – как те две беньяминовские звезды, которые узнают себя как принадлежащие одному созвездию благодаря наблюдателю, который и есть неотъемлемая и важнейшая часть созвездия. Созвездия – это объективная реальность, их собственная правда. Надо увидеть. *Quid vides?*

То, что снимает фотограф, видит и мыслит его самого.

Фотография – это не то, что фотограф думает и говорит о дереве, о позирующих за деньги и без, о снеге, небоскребах, волосах на лобке, скелетах, матрацах, навозной куче, ночном трамвае, квадратах, вспоротых лошадях или просто пятнах цвета, палитра которого ограничена предложением *soft-* и *hardware*. Это ведь дерево, позирующие и непозирующие, снег, ночной трамвай и все, ему видимое, думает и говорит о нем. Ему кажется, что он приглядывается в объектив, а это мир разглядывает через линзу его самого. И фотография будет не о мире, а о нем. Фотограф всегда фотографирует себя. И здесь не поможет никакая ретушь, никакой фотошоп. Мы видим в конечном счете больше того, что видит в окуляр нажимающий на кнопочку. Видим его самого не закрытого кожей. Видим, как и что он ищет – в одиночку. Один на один со своим временем. Со своей смертью.

Не может быть швейцарской фотографии, потому что не может быть швейцарского художника, как не может быть

художника русского или американского или антарктического. Потому что не может быть границы внутри человека. Попробуй проведи пограничную полосу по облаку! Один писатель сказал: как человек на морозе окутан паром своего дыхания, так человечество окутано человечностью. Потребностью в любви. И это дыхание у нас у всех одно.

Страшный Суд будет для тех, кто в него верит, и для тех, кто в него не верит, но считает себя художником. Верующие будут отвечать за свои грехи, художник-фотограф – за свои фотографии. И все паспорта уже будут просрочены и недействительны, даже красные книжицы с белыми крестами. И там не будут говорить ни на швицер-тютче, ни на русском, ни на английском или каком-то другом экзотическом языке. Потому что все языки, в конце концов, экзотические.

Жил-был сон, в котором спящему снилось, будто он фотограф-шпион, посланный сфотографировать что-то важное, но забывший – что. Он пытается мучительно вспомнить, кто завербовал его и зачем, – и ничего – пустота. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Тогда он начинает шпионить за пустотой.

Скучно попадать наяву в сон такого фотографа, шпионящего за собственной пустотой. В жизни можно скрыться за одежду, слова, молчание – на фотографии автор как на ладони. Ему не спрятаться ни за объекты, ни за пятна, ни за квадраты, ни даже за самого себя, как за тотальную иронию.

Можно, конечно, попенять, что нам не повезло, что нас засунули в уже кем-то жеваную действительность. Апокалипсис отменен, но все уже и без того закончилось. Мы живем после “конца истории”, после всех других “концов” – искусства, книги, фотографии, философии, гуманизма и так далее, вплоть до конца смысла и человека. Важное, сокровенное, превращенное в слова и образы, давно стало банальным. Век информационных сверхскоростей разогнал банальное до баналиссимо. Красота, не являясь больше переживанием сакрального, предстает в обличье китча, ставшего прибежищем выродившейся красоты – последнее, что осталось от искусства после конца истории.

И всему этому совершенно нечего возразить по существу.

Кроме одного. Все кончилось, но самое важное осталось: еще жив читающий эти буквы. И значит, ничего кончиться не может. Искусство закончится только тогда, когда химики из какой-нибудь фармацевтической лаборатории запатентуют пилюлю от смерти.

Сон с погоней за пустотой будет продолжаться до тех пор, пока вдруг не откроется, что за свет исходит от снимаемых объектов, пятен и квадратов. Чьим светом написано письмо от снега. От вспоротой лошади. От женщины.

Первопричина времени – в операторе, в творце мира. Первопричина творца – в потребности любви. Бог появился не как большой охотник и воин, призванный убить как можно больше зверей и соседей. Бог начался с той женщины, у которой заболел ребенок, и никто ей больше не мог помочь. И ей ничего больше не оставалось, как поднять руки к небу и молиться.

Бог появился из-за необходимости любви. В мире, состоящим из забот, болезней, войн, локтя ближнего, бьющего под дых, вежливых улыбок, убивающих не хуже “калашникова”, невозможно выжить, если не любить и не чувствовать себя любимым. Без этого – только задохнуться. Нечем будет дышать.

Единственная объективная реальность – это потребность в любви. И свет, идущий от этой тоски по любви, теплый на коже.

Только этим светом может быть написана женщина, которой хочется быть любимой: я сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос моего возлюбленного, который стучится: “отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою”.

Письмо светом. В каждом письме свет объясняется в любви ко всему, что он собой создает.

Человек как объяснение света в любви.

Без этого света письмо останется непроявленной тьмой, тем, чем мы были до языка, на котором женщина смогла произнести первую молитву о своем заболевшем ребенке, и чем мы остаемся и сейчас, если не умеем любить.

У оператора можно вырвать, спасти искомое время – настоящее всегда – только если запаковать его в этот свет, как в оберточную бумагу. И тогда то, что смотрит друг на друга по обе стороны линзы, останется живым и не умрет никогда.

И каждое такое световое письмо будет приближаться к той главной фотографии, обыкновенному селфи на мобильнике. Наш групповой портрет. Фотография всех времен, всех ветров и снегов, объятий и молитв, обид и подлостей, завтраков и подвигов, утрат и рождений. Мы дружно выдохнем: *“Cheese!”* Вспышка озарит лица всех, кто жил на этой крошечной, не больше спичечной головки, планете. И каждый получит эту карточку – на память о бессмертии.

2004

Урок каллиграфии

Заглавная буква, Софья Павловна, есть начало всех начал, так что с нее и начнем. Если хотите, это все равно что первое дыханье, крик новорожденного. Еще только что ничего не было, абсолютно ничего, пустота, и еще сто, тысячу лет могло бы ничего не быть, но вот перо, подчиняясь недоступной ему высшей воле, вдруг выводит заглавную букву и остановиться уже не может. Являясь одновременно первым движением пера к точке, это есть знак и надежды, и бессмыслицы сущего. В первой букве, как в эмбрионе, затаена вся последующая жизнь до самого конца – и дух, и ритм, и напор, и образ.

Не утруждайте себя так, Евгений Александрович. Я – курица, а вот моя лапка. Лучше расскажите что-нибудь забавное. У вас ведь на службе каждый день что-то интересное, всякие преступления, убийцы, проститутки, насильники.

Да какие они, господи, преступники. Обыкновенные люди. Кто в винном дурмане, кто в беспамятстве натворили невесть что, а теперь сами себе ужасаются, мол, знать не знаем, ведать не ведаем, и вообще, как вы могли подумать, что я, такой хороший и добрый, мог такое совершить! И вот пишут, пишут куда только можно прошения, ходатайства, молят о снисхождении, а перо держать толком никто не умеет. Позвольте я вам покажу. Левую сторону среднего пальца нужно близ ногтя приставить к правой стороне пера. Вот так. Большой палец, тоже близ ногтя, прикладывается к левой стороне, а указательный сверху не нажимает, но лишь касается, как бы поглаживает перу спинку. Опирается же перо об основание третьего сустава указательного пальца. Эти три пальца и называются писательными. Ни мизинец, ни безымянный не должны дотрагиваться до бумаги. Между рукой и бумагой всегда должно быть пространство, воздух. Если рука не свободна, лежит на бумаге или упирается хоть кончиком мизинца – не может быть свободы в движении кисти. Перо должно касаться бумаги слегка и непринужденно, без малейшего напряжения, как бы играя. А мизинец и безымянный, уверяю вас, есть лишь животные атавизмы, и без них можно писать и креститься.

Вот видите, и у меня ничего не получается. А я, знаете, решила тут как-то на днях утопиться. Да-да, не смейтесь. Нацарапала короткую записку и прилепила на зеркало. Но сначала почему-то решила сходить в баню, не знаю почему. Отчего-то запомнилась одна здоровая рыжая баба, она мыла голову напротив меня. Вся усыпана веснушками – и грудь, и

живот, и спина, и ноги. Волосы густые, длинные и впитывали в себя столько воды, что когда эта рыжая распрямлялась, в шайке было почти пусто, а на дно обрушивался целый водопад. А когда я наконец пришла на мост, внизу плыла какая-то баржа. Мужики оттуда что-то кричали и хохотали, мол, давай, прыгай. Я жду, когда она пройдет, а следом еще одна баржа и еще. С каждой что-то кричали, смеялись, и конца этим баржам не было видно. Мне тоже стало вдруг смешно, и я пошла домой, там еще, слава богу, никого не было. Сорвала записку, схватила буханку хлеба и почти всю сжевала. Впрочем, все это не имеет никакого значения, продолжайте. На чем мы остановились?

Что ж, давайте перейдем к черте. Но прежде всего выпрямитесь, освободитесь, невозможно писать сгорбясь или навытяжку. Так вот, в основе всего лежит линия, штрих, черта. Возьмите в пространстве две любых точки, два любых предмета – и между ними можно провести связывающую их линию. Между всеми вещами на свете существуют эти невидимые штрихи, все ими взаимосвязано и нерасторжимо. И расстояния здесь не играют никакой роли – линии эти растягиваются, как резиночки, только еще сильнее связывая предметы. Видите, тянется линия между чернильницей и вот этим тузом, слетевшим на паркет, между педалью фортепьяно и тенью от веток на подоконнике, между мной и вами. Это своего рода жилы, которые не дают миру рассыпаться. Проведенная пером линия и есть эта, как бы овеществленная связь. И буквы – не что иное, как штрихи, линии, завязанные для прочности узелками и петельками. Перо завязывает черту в форму, образ, придает ей смысл и дух, как бы очеловечивает ее. Попробуйте провести ровную линию! Ну вот, теперь полюбуйтесь на этот дрожащий изогнутый волосок. Смертному не дано провести прямую. Прямая линия есть недостижимый в природе идеал, к которому стремится бесчисленное множество кривых. Так и буквы лепятся вкривь и вкось, тогда как в каждой из них заложена гармония, красота – в соразмерности изгибов, в стремительности наклона, в правильности пропорций. Перо – только регистратор, что безошибочно запечатлевает на бумаге все мечты и страхи, добродетели и пороки, толкающие вас под руку при каждом нажиме. Все происходящее в вашей жизни немедленно оказывается на кончике вашего пера. Расскажите мне о человеке, и я определю без ошибки, какой у него почерк.

Вот и начните с меня.

Вы – чудная, вы – необыкновенная, вы сами не понимаете, какая вы. А почерк у вас, Татьяна Дмитриевна, чистый, свежий, детский, даже буквы к концам строк растут…

Не продолжайте, Евгений Александрович! Какой вы все-таки душка. Взгляните-ка на какое-нибудь мое письмецо. Хоть на это. Нет, лучше на это. Нет, не надо. Да бог с ним, с почерком. Просто вы, хитрющий вдовец, волочитесь за мной, вот и плетете простодушной легковерной женщине всякое. Я же вас насквозь вижу и без всякого почерка. Ведь вы ко мне неравнодушны, не так ли? Ну-ка, признавайтесь в любви сейчас, немедля. Хотя все это ни к чему. Лучше молчите.

Подумать только, уже восемь годков, как нет больше моей Оли. А она ведь и не умерла вовсе. Ни с кем с тех пор об этом не говорил, а вам расскажу. У нас с ней всякое было, но худо ли бедно прожили столько вместе, и вдруг оказалось, что со мной рядом совершенно незнакомый, чужой человек. В свое время у Оли стал мутнеть правый глаз, она начала слепнуть. Я повез ее в Москву, нашел профессора, сделали операцию. Слава богу, все обошлось. И вот с тех пор раз в полгода, а в последнее время все чаще, она ездила проверяться. На мои расспросы отвечала, что все хорошо, а мне казалось, она что-то недоговаривает. Я боялся, что Оля слепнет и молчит об этом. Она очень изменилась, стала замкнутой, раздражалась из-за пустяка, часто плакала по ночам. Раньше она любила по вечерам читать Коленьке книжки, теперь даже не притрагивалась к ним. Мне было страшно. Я хотел чем-то помочь, понимал, что ничего не могу сделать и оттого любил ее еще сильней. И вот как-то за ужином Оля разливала чай, и у нее прямо в руках разорвался фарфоровый чайник. Нас ошпарило, мы вскочили. И тут Оля стала кричать, что больше так жить не может, что ненавидит себя, но еще больше меня, что в Москву она ездит ни к какому не профессору, а к человеку, который ее любит и которого любит она. Я с трудом понимал, что она говорит. “Что ты хочешь?” – спросил я. “Я хочу не видеть тебя! – снова закричала Оля. – Я лучше удавлюсь, но так дальше жить не буду. Я уйду к нему. Я люблю его”. – “А Коля? Как же Коля?” Она заплакала. “Но все это невозможно, – сказал я. – Я не могу жить без Коли, а Коля без тебя. Ты хочешь бросить сына? Невозможно, чтобы Коля всю жизнь стыдился своей матери и презирал ее. Этого не будет. Не может быть”. “Я знаю, – услышал я в ответ, – ты хочешь, чтобы я умерла! Хорошо, я умру!” Она вскочила и побежала вон из комнаты. Я попытался задержать ее: “Что ты мелешь! Прекрати!” Она вырвалась и заперлась у себя. Я испугался, стал стучать в дверь, но Оля вдруг открыла и почти спокойным голосом сказала: “Не ломай дверь, все хорошо”. На следующий день за завтраком в присутствии Коли она заявила, что у нее опять что-то с глазами и завтра же она поедет в Москву в клинику. Что я мог сказать ей? Вместе с Колей мы поехали

провожать маму на вокзал. Оля плакала, без конца целовала и тискала Колю. Мальчик вырывался и все просил привезти ему ружье. Утром другого дня пришла телеграмма из Рязани. Оле по дороге стало плохо, ее сняли с поезда, и прямо на вокзале она умерла. Телеграмму принесли, пока меня не было дома. Когда я прибежал со службы, у всех были серые заплаканные лица, только Коле ничего не говорили. Мальчик приставал ко всем: “Что случилось? Что-нибудь с мамочкой?” – “Нет-нет, – говорил я ему, – все хорошо, все хорошо”. В тот же вечер я выехал за ней. Ехать было всю ночь. Попутчик жаловался на бессонницу и предложил мне играть в шахматы. Мы передвигали фигуры до самого утра. Иногда я забывался, но когда вспоминал, что произошло и куда еду, то принимался выть. Сосед вздрагивал, испуганно смотрел на меня. Вагон трясло, доска дрожала, фигуры все время выползали из своих клеток. Я переставал выть и поправлял их. На вокзале рано утром меня встретила Оля, какая-то чужая, красивая, в не знакомом мне платье. Увидев меня, она замахала рукой и разрыдалась. Первым моим порывом было ударить ее по лицу, я еле сдержался: “Что происходит?” Она только мотала головой и ничего не могла произнести. Ее всю трясло. Я усадил Олю на скамейку: “Послушай, Коля еще ничего не знает. Поедем домой, объясним, что вышло недоразумение!” Наконец Оля пришла в себя. “Не перебивай меня, – сказала она. – Я уже все решила, что бы вы там все про меня ни думали. Место в багажном отделении уже оплачено. Остались пустяки: обивка, ленточки. Поезд в семь вечера, мы успеем”. Все это было дико и невозможно, я ходил за ней, как в бреду. В магазине она долго и придирчиво выбирала ткань и ленты. Все ей не нравилось: то цвет не гармонировал, то материал казался никудышным. Она потащила меня в другой магазин, потом мы снова вернулись в первый. Пошли в какую-то контору, потом еще в какую-то и еще. К шести обитый голубым в рюшечках и бантиках гроб уже был на вокзале в отдельной комнате, оказывается, и такая предусмотрена. Мы зашли в буфет. Она смотрела в тарелку застывшим взглядом и молча глотала. Я не выдержал, закричал: “Но как же Коля?” – “У меня будет еще ребенок”, – спокойно сказала она. Я бросился прочь, испугался, что могу убить ее. На обратном пути, чтобы избежать расспросов, поехал в почтовом вагоне. Заспанный служащий, перебирая почту, пробурчал: “Я этих покойников столько за свою жизнь перевез. Чай будете?” Я отказался. Он долго пил, гнусно прихлебывая, потом улегся и захрапел. Вагон швыряло, все грохотало, тряслось. В свете ночников было видно, как отовсюду лезли тараканы. Рядом, за деревянной перегородкой, ехал пустой гроб. Я никак не мог

понять, что происходит, не мог представить себе, что наступит утро, будут похороны. Перед глазами все время появлялся Коля, просивший маму привезти ружье. Мне казалось, что наступил конец света, что завтрашнего дня и вообще последующей жизни уже не будет, не должно быть. Но вот наступило утро, и на вокзале меня уже ждали с похоронными дрогами. Было много слез, причитаний, вздохов, еще больше суеты, неразберихи. Хотели везти гроб домой, но я настоял на том, чтобы сразу отправили его в церковь. Я велел ни в коем случае не открывать крышку. Больше всего боялся встречи с Колей. Когда вошел к нему, он бросился ко мне на руки. Коленька рыдал, я ходил с ним по комнате, целовал в мягкий, пахнувший родным затылок. “Вот и нет больше нашей мамочки”, – шептал я. Похороны были на следующий день. Мне жали руку, что-то говорили. Многие в соболезнованиях своих притворялись, я чувствовал это, даже услышал краем уха что-то злое про Олю. Приехала ее мать, молодящаяся дама, надушенная, одетая в черное, но изысканно. Я с ужасом подумал, что и она участвует в этом нечеловеческом розыгрыше, но увидев гроб, мать заплакала и стала требовать, чтобы его открыли: “Покажите мне мою доченьку! Что бы с ней ни было, я хочу увидеть ее в последний раз!” Я еле отговорил ее. На поминках все убеждали меня пить: “Выпейте, Евгений Александрович! Поверьте, вам легче станет!” Но я даже не притронулся к рюмке. Вечером после похорон я еле уложил Колю – он все плакал. Я хотел было почитать ему что-нибудь, но он вдруг посмотрел на меня злыми, ненавидящими глазами: “Прекрати, папа, как ты можешь!” Я взял отпуск и отвез Колю в Ялту, чтобы ребенок пришел в себя, развеялся. Первое время мальчик ходил как во сне, ни на что не обращал внимания, ничего не хотел есть. Потом на соседнюю дачу приехала какая-то женщина из Сызрани с тремя сыновьями, чуть постарше Коли, и мальчишеская компания быстро увлекла его. С утра до ночи они носились, бесились, дрались. Коля как-то незаметно загорел, подрос, окреп, выучился хорошо плавать. Один раз на пляже, когда мы были с ним вдвоем, он вдруг нырнул и долго-долго не показывался над водой. Я вскочил, побежал, хотел уже сам нырять, но тут он вынырнул совсем в другом месте и стал бить кулаками по воде: “Испугался! – радостно кричал он сквозь брызги. – Испугался!” Коля все время бегал босиком, ноги огрубели, и я каждый вечер смазывал его пятки, отвердевшие, обросшие твердой подковкой, чтобы не растрескались, жиром. Сызрянка сперва одолевала меня рассказами про своего мерзавца-мужа, потом отстала и каждый день появлялась в обществе мускулистого грека. Через год я получил от Оли письмо, почему-

то из Киева. Оно было написано изломанным почерком, но ее рукой, хотя подпись стояла какой-то Сорокиной. Оля писала, что у нее родилась чудная девочка, что с новым мужем они души не чают друг в друге и что она совершенно счастлива.

Но уже прошло столько лет, а вы все еще один, Евгений Александрович…

Как вам объяснить это, Настасья Филипповна? Однажды мне пришлось задержаться на службе. Готовил выписку из какого-то дела. Кажется, в тот раз речь шла о молодом человеке, который убил мать своего товарища, служившего в это время в армии. Юношу в тот же день нашли, и он не отпирался, только все твердил, что она сама его напоила и соблазнила. К материалам следствия была приложена фотография: голое тело на полу, жирное, исковерканное. Такие снимки чуть ли не в каждом деле, ничего необыкновенного. Когда я вышел, на улице уже было темно, холодный такой осенний вечер. Я пошел домой, а куда еще мог идти? Пока Коля жил дома, я всегда старался приходить пораньше, чтобы накормить его, проверить уроки; поиграть во что-нибудь. Мы вырезали из бумаги человечков, рисовали им лица и придумывали разные истории – у Коли была удивительная фантазия. Он придумывал такие добрые сказки и всегда всех спасал. Коля все про себя рассказывал: про ребят, про учителей, про отметки, про все свои дружбы и ссоры. А теперь я заставлял себя идти в пустой дом. И вот в тот день, зная, что опять будет бесконечный бестолковый вечер, я шел домой самой длинной дорогой, потом еще сделал крюк и еще, и так ходил час, а может, два, сам не знаю зачем, и вдруг оказался у вашего дома. На улице никого не было, фонари не горели, я открыл калитку и вошел. В саду было темно, свет падал только из окон. Я подошел совсем близко. Незадернутая занавеска открывала почти полкомнаты, там никого не было. Вдруг вошли вы и посмотрели в окно, прямо на меня. Я испугался, хотел спрятаться за дерево, но застыл, оцепенел. Вы стояли так близко, что не могли меня не видеть, но лицо ваше даже не дрогнуло. Вы повернулись одним боком, другим, провели ладонями по бедрам, глядя в свое отражение, что-то поправили в прическе, отвернулись, прошлись по комнате вокруг стола. Вы что-то сказали сами себе. За двойными рамами не было слышно. Я только видел движение ваших губ. Неожиданно вырос ваш муж – он лежал все это время на диване, а теперь встал, в халате, растрепанный, с взъерошенными волосами, с усталым, заспанным лицом. Наверно, пришел со службы и задремал. Он обнял вас, положил вам голову на плечо, закрыл глаза. Тут привели детей, верно, прощаться на ночь, потому что они были уже в ночных рубашках, розовых от абажура.

Вы перекрестили и дочь и сына, поцеловали в лобик. Девочка все протягивала вам книжку, наверно, уговаривала почитать ей перед сном. Вы сначала качали головой, и лицо ваше было строгим, но дочка так упрашивала, что вы улыбнулись и уселись рядом в кресло. Ваша крошка долго ерзала, устраиваясь, потом замерла, открыв ротик и улетев воображением в страну троллей, или гадких утят, или заколдованных лягушек, туда, где нам с вами никогда не побывать. А супруг ваш тем временем затеял играть с сыном в жмурки, вставил монету в глаз, будто монокль, и, загребая руками, гонялся по комнате за мальчиком. Ребенок был в таком восторге, что крики, визг и смех выплескивались за окно и разносились по застывшему холодному саду. Вы несколько раз пытались успокоить обоих, строго говорили что-то, наверно, что нельзя возбуждать детей перед сном или что-нибудь в этом роде, но сами не могли удержаться от смеха и даже наподдали книжкой и одному и другому. Монетка выскочила, ваш муж полез за ней под кресло, мальчик тут же вскочил ему на шею, девочка тоже запрыгнула на папу верхом. Вы все хохотали. Наконец детей увели спать. Ваш супруг закурил, сел с газетой в угол дивана под лампу. Вы устроились рядом с толстенным томом. Потом встали, принесли подушку, взбили ее в другом конце дивана и легли, закутав ноги в огромный теплый платок. Так вы долго читали, и ваши ноги лежали у него на коленях. Один раз вы вместе посмотрели куда-то в угол, вверх, это били часы. Иногда он читал вам что-то вслух, какую-нибудь забавную заметку. При этом смеялся и мотал головой, а вы только слегка улыбались, даже не поднимая глаз, так увлекла вас книга. Потом он сложил газету, зевнул, сказал вам что-то, в ответ вы лишь кивнули, и ушел. Вы все читали и читали, то сидя, поджав под себя ноги, то ложились на спину. Время от времени вынимали шпильку из волос и чесали в голове. Я не замечал, что холодно, что совсем продрог, – никак не мог уйти, все стоял и смотрел на вас. Один раз вы встали, достали коробку конфет из буфета. Положили ее себе на колени и ели одну за другой, а обертку скатывали шариком и щелчком выстреливали куда придется. Вдруг откуда-то сверху, со второго этажа, донесся детский плач. Вы вскочили, бросили книгу на стол и с испуганным лицом бросились из комнаты. Долго никого не было. Потом на какое-то мгновение появился ваш муж, и свет погас. А я все стоял и стоял. Мне страшно было уйти.

Ах вы проказник! Как только не стыдно. Седой человек, а ведете себя как мальчик. Действительно, муж всегда читает из газет что-нибудь вслух. Вот, например, недавно была одна история. Судили троих мужчин за изнасилование девушки, совсем еще подростка. Причем, представьте себе, все были люди с

положением, у всех семьи, дети, словом, невозможно было про них даже предположить подобное. Они, понятно, возмущались, негодовали, наняли лучших адвокатов, сами выдвигали обвинение против кого-то, мол, все это подстроено. А девочка была дочкой их общих знакомых, родители верили ей во всем и были возмущены подлостью и мерзостью своих лучших друзей. На следствии и суде девочка рассказала о таких развратных действиях, совершенных с ней, что ни у кого не возникло сомнений в истинности ее показаний. Вы понимаете, в детскую головку просто не могли бы прийти такие ужасы. Короче говоря, их осудили, но адвокаты продолжали что-то делать, было назначено еще одно следствие, и выяснилось, что эти трое невиновны, что девочка больна, что у нее отклонения в психике на эротической почве, что она все это придумала и в свои же фантазии поверила. Осужденных, понятно, из тюрьмы выпустили. Можно только себе представить, какая была в их несчастных семьях радость. А девочку посадили в специальную лечебницу, чтобы неповадно было этой мерзавке порочить честных людей. Но после всего этого в первых ее показаниях нашли такие подробности, выдумать которые просто невозможно: какая-то необычная родинка в самом интимном месте и еще что-то в том же роде. Нашлись еще свидетельства и доказательства. Наконец один из них сознался, и всех троих снова посадили, теперь уже окончательно. Но девочку при этом, самое интересное, не выпустили, потому что она действительно оказалась ненормальной, на всех бросалась, и на мужчин, и на женщин. Одним словом, все хороши. А моего мужа вы просто по-настоящему не знаете, он замечательный человек, я его очень люблю. Это человек, достойный всяческого уважения, он очень любит наших детей и меня. Всегда делает какие-нибудь сюрпризы, например, пишет мне или сам себе письма и отправляет их по почте, потом вместе их вскрываем, и он смотрит на меня – ведь делается все это, чтобы принести мне радость, – и я прихожу в восторг от идиотских писулек – чтобы ему было приятно. Я выскочила замуж как в бреду. Молоденькая дурочка влюбилась во взрослого мужчину по уши только потому, что он изредка приходил в наш дом и все время молчал. Теперь-то я понимаю, что примитивное любопытство дало пищу фантазии – и вот я уже жить не могла без этого молчуна. Потом, уже после свадьбы, наступило прозрение. Я будто пришла в себя и ужаснулась тому, что наделала, но появился наш мальчик, и я смирилась. Этот человек – прекрасный отец, умом я понимаю, что должна быть благодарна ему, но все это невыносимо. Мне отвратительны его дикие причуды в еде: он всегда ест сперва

второе и потом суп, обожает крошить хлеб в молоко, видите ли, такую тюрю готовила ему в детстве мама, и он уплетает это месиво, эту разбухшую дурную жижу за обе щеки. Его носки я всегда нахожу в самых невероятных местах, а когда он что-то теряет, виноватой оказываюсь я. Он может не мыться неделями, его грязные волосы отвратительно пахнут, зато перед уходом на службу четверть часа душится, чтобы забить свой запах. Когда он лезет со своими объятиями, особенно ночью, я стараюсь представить себе, будто это не он, а кто-то другой. Вы только не подумайте, у меня и в мыслях нет изменять ему, я стала бы себя презирать после этого. Если бы я полюбила другого человека, я все равно поборола бы в себе это чувство. Достоинство важнее удовольствия. У меня есть дети, дом, я не представляю себе другой жизни, хотя в мыслях-то как раз я изменяла ему все время. Мысли эти отвратительные, ужасные, грязные, я гоню их от себя, но бороться с этим невозможно. И это еще страшнее, чем изменить наяву. Иногда я пугаюсь самой себя. И это касается не только мужа, но вообще мыслей, которые овладевают мной. Доходило до невозможного. Когда я кормила первого ребенка, так уставала, была в таком нервном возбуждении из-за его бесконечных болезней, моего постоянного недосыпания, меня так измучили его крики, плач, что однажды произошел какой-то нервный срыв, минутное помешательство. Мальчик среди ночи очередной раз закричал, а я, измученная, вскочила, и во мне вдруг вскипела такая ненависть, такая злость, такое бешенство, что я готова была убить его, я даже выхватила ребенка из кроватки – помню, что меня вдруг ударила мысль выкинуть его с балкона. Я так ужаснулась этому, так мне вдруг стало дико – ведь я была на секунду от непоправимого. У меня после той ночи пропало молоко. Послушайте, ведь матери не может прийти в голову убить собственного ребенка!

О чем вы говорите! Мне приходится по службе заниматься такими историями, что и выдумать подобные невозможно, а вот ничего, свыкся, служу. Один, например, поссорился с женой и зарезал хлебным ножом ее и двух детей: старшему четыре года, а младший вовсе грудничок; потом опомнился, стал резать себе вены, а пока истекал кровью, поджег квартиру и выбросился из окна. Другой принуждал к сожительству дочь, и та ночью убила его топором. Третий до смерти забил поленом брата – никак не могли поделить доставшийся в наследство дом. Четвертый истязал шестилетних близнецов, соседских детей, изнасиловал, выколол глаза и оставил умирать в заброшенном подвале, а потом вместе с родителями переживал, возмущался, участвовал в поисках, пока случайно его не уличили. Просыпаешься,

завтракаешь, собираешься на службу и уже наперед знаешь все, что там будет. Он свою мать чулком задушил, тело по кускам отнес в отхожее место, а я ему: “Будьте любезны, распишитесь вот здесь!” И так изо дня в день, из года в год. Не придушил, так зарезал, не отравили, так сам умер. Не Петр, так Николай, не заботливый отец, так любящий сын. И завтра, и послезавтра, и через сто лет. Слова, и те говорят одни и те же: не видел, не знал, не был, не я. И обвинение никогда не отличается оригинальностью: “обуреваем неуемной жаждой наживы”, “ослепленный завистью, измученный сознанием собственного ничтожества”, “потерявший человеческое обличье подонок для удовлетворения своей минутной похоти”, “гнусно воспользовавшись беспомощностью разбитого параличом отца”, “двадцать лет ловко и коварно скрывавший свою преступную сущность под маской добропорядочности”. И защита долдонит одно и то же: “Доведенный до отчаяния безысходностью, бессмысленностью жалкого существования”. “Не имея другой возможности защитить поруганную честь”. “Будучи жертвой тюремного воспитания – ведь родись вы в тюрьме и видя с детства вокруг себя лишь насильников и убийц”. “Да, кровь пролилась, орудие убийства перед вами, но посмотрите, как раскаивается этот несчастный! Попробуйте не обвинять, а разделить горе убийцы собственного сына!” “Боже мой, вы-то сами, хлебнув лишнего, разве не испытывали хоть раз этот прилив ненависти и обиды, разве не просыпалось в вас дикое, полуживотное-полудетское желание отомстить кому-то за свою никчемную обманутую жизнь, за все мучения, несправедливости, за все, что вы претерпели от ближних и дальних, от Бога и от самого себя?” Они там творят сами не знают что, а я – пиши. И вот, чтобы не сойти с ума, возьмешь и напишешь чье-нибудь последнее слово не лапидарной скорописью, а, к примеру, пузырчатым изящным рондо, сквозными буквами с затушевкой внутри, а приговор – ломаной фрактурой с росчерками, или готическими заломами, или батардом, или куле, или сам придумаешь что-нибудь этакое, страничку так, другую сяк. Да что там страницу, попробуйте напишите хоть слово, но так, чтобы оно было самой гармонией, чтобы одной своей правильностью и красотой уравновешивало весь этот дикий мир, всю эту пещерность. Да вот хоть сегодня – судили одну особу, отравившую мужа, пропойцу и драчуна, от которого, может, давно уже нужно было освободить натерпевшихся домочадцев, – дети у них вовсе безмозглые, уроды. И вот она в камере хотела повеситься, но ее успели сорвать, а она говорит на заседании: “Вы можете сделать со мной что хотите, вы мне никто, потому что я

все равно себя убью и жить не буду, а Высший Суд меня оправдает, потому что мне жить больше невтерпёж". Так и сказала. А наш председатель говорит: "Так ведь это мы, милочка, и есть Высший Суд, а что вам там втерпёж или невтерпёж – не вам решать!" А та все свое бубнит: "Мне жизнь эта ваша невтерпёж". Я и пишу: *невтерпёж*. И одно только слово-то чего стоит! Вы только попробуйте! Примитивная *н*, может быть, и не стоит даже особого упоминания. Ее прямая палочка пишется по наклонной линии в один такт. Поставив кончик пера на начало, нужно согнуть пальцы сразу, и перо само уведет вас вниз, но при этом главное – нажим. Не дай бог ему усилиться или ослабнуть: черта не должна дышать! Пламевидное соединение – по сходству с языком пламени – выгибается сперва влево, потом вправо. В середине – утолщение, сходящееся на нет к концам. В третий такт пишется палочка с закруглением внизу. Здесь пять частей линии проводится прямо, а в шестой нажим уменьшается, и черта, округляясь, отводится вправо, оканчиваясь у невидимой линии, заключающей каждую букву в отведенное для нее пространство, если хотите, клетку. Внизу, так как палочка закругляется, между представляемым полом клетки и кончиком заключенной в нее черты получается пустой уголок. После закругления тонкая черта идет вверх, но не прямо, а дугообразно, слегка выгибаясь вправо, чтобы сразу, не отрываясь от бумаги, проникнуть в *е* – коварную простушку, невзрачную на вид, но требующую для достижения желаемого осторожности и умелого обхождения. После тупорылой казарменной *н* для *е* необходима легкая, куртуазная линия, которая, начинаясь почти ресничным штрихом с изгибом вправо, пересекая ровно посередине наклонную, пролетает после изгиба назад, едва коснувшись потолка своей каморки, и, запрокидываясь в этой мертвой петле, стремительно бросается в полуовал с нажимом на левой стороне, причем изгиб волосного отчерка скрывается в полуовале, а не остается позади. С разлета перо устремляется ни много ни мало до верхнего угла следующей клетки, и любое дрожание или утолщение может моментально разрушить иллюзию этого свободного парения, которое с резким набором высоты превращается в *в*. Потайная суть этой верзилы вовсе не в сквозящих сверху и снизу пустотах, а в завершающем, неприметном с виду, но таящем опасности узелке с отчерком, за который уже нетерпеливо дергает *т*. Здесь важно не торопиться запечатлеть еще затягивающуюся петельку, а дождаться, когда узелок превратится почти в точку, – тогда уже можно опрометью бросаться в три проруби подряд, благополучно снова возвращаясь в *е*. *Р* и *п* – вовсе не буквы, а так, *г* на палочке. Но дальше, дальше, в самом конце шествует *ж*, эта удивительная членистоногая пава,

единственная особа, разлагающаяся на целых пять тактов! В ней есть что-то и от двуглавого орла, и в то же время мягкие ее полуовалы крепко сидят на строчке, как на ступеньке. Она словно соединяет собой, будто зажим, расползающийся мир – небо и землю, восток и запад. Она изящна, совершенна, самодостаточна. И вот, если рука была верна, если перо ни разу не дрогнуло, если все получилось, то на столе моем, вы не поверите, происходит чудо! Лист обыкновенной бумаги сам собой выделяется, высвобождается, приподнимается над происходящим! Совершенство его сразу выдает чужеродность, даже враждебность всему сущему, самой природе, будто этот кусочек пространства отвоеван другим, высшим миром, миром гармонии у этого царства червей! И пусть они там ненавидят и убивают, предают и вешаются – все это лишь натура для чистописания, сырье для красоты. И в эти удивительные минуты, когда хочется писать еще и еще, испытываешь какое-то странное, невыразимое ощущение. Верно, это и есть счастье!

Евгений Александрович, вы – сумасшедший!

Вы не понимаете, Анна Аркадьевна, потеря рассудка – это привилегия блаженных, награда избранным, а мы все наказаны за что-то. А главное, некого спросить – за что? Сами посудите, вот мой Коля. Когда он поехал учиться в Москву, я был рад за него, за моего мальчика, ставшего как-то незаметно, вдруг, юношей, студентом, с нетерпеливой реденькой бородкой. И вот не проходит и двух месяцев, как я получаю бумагу, уведомление, что сын мой находится под следствием, обвиняется в убийстве. Я все бросил, помчался туда. Следователь, который вел его дело, заявил мне, что мой Коля вместе со своим другом убил какую-то девушку, надругавшись сперва над ней. Колю поймали, а второй юноша куда-то исчез. “Вы в своем уме?!” – закричал я. “В своем. Этот мерзавец во всем сознался”. Я не верил ни одному слову, я знал, что произошла какая-то ошибка, чудовищное недоразумение. Наконец нам дали свидание. Коля совершенно не изменился, даже одет был в ту же курточку, только оброс. “Коленька, зачем же ты сознался! – сразу начал я. – Ведь это не ты!” Я думал, он обнимет меня, заплачет, расскажет все, как было, но Коля стал говорить, какие прошения куда нужно писать, просил все точно запомнить, не перепутать, злился, что я никак не мог сосредоточиться. Так и сказал мне: “Отец, очнись и запоминай!” И все не мог успокоиться, что я не принес денег – со мной были лишь какие-то мелкие купюры. “Папа, – сказал он, – если есть деньги, везде можно жить, даже в тюрьме”. И все же я не верил ни следователю, ни Коле. Я и сейчас не верю. Мой мальчик не мог этого сделать, он оговорил себя. Из страха. Его кто-то

запугивал. А может, Коля кого-то выгораживал, спасал. На суде он так нервничал, так хотел побороть свой страх, что, наоборот, вел себя развязно, сидел развалившись, на вопросы отвечал с ухмылкой. А когда свидетель, дворник, запутался в своих показаниях, даже рассмеялся. И ужасный свой приговор – пятнадцать лет – выслушал, пожимая плечами, мол, подумаешь. Он же мальчишка еще совсем, несмышленыш, ребенок. И мне крикнул, когда его уводили: “Папа, не плачь, я тебя люблю!” Тут же в зале сидели родители той убитой. Во время заседаний мать время от времени принималась рыдать, и тогда отец уводил ее из зала, потом они возвращались и снова занимали свои места. В первый же день суда я подошел к ним и хотел что-то сказать, сам не зная что – просить ли о прощении, умолять о снисхождении, но мне не дали сказать ни слова. “Убирайтесь!” – бросил отец. Я собирал Коле вещи, писал бесконечные, бессмысленные прошения, ходатайства, часами просиживал в приемных, чтобы выяснить только, куда Колю отправят. Я уже строил планы, как приеду к нему летом, может быть, мне дадут, если удастся упросить начальника, внеочередное свидание. Но летом я заболел, слег, и поездка моя в далекий страшный Ивдель не состоялась. Колины письма были короткими: что прислать в передаче, куда писать очередную бесполезную “помиловку”, как он выражался. Так прошел год. На службе ничего не знали про Колю, а может, делали вид, что не знают, потому что раньше иногда спрашивали: “Как ваш сынок?” – а теперь все про дела, будто и не было у меня никогда Коли. И вот как-то меня попросил зайти наш Виктор Валентинович. Я вошел к нему, стою, жду, а он какой-то сам не свой, принялся ходить по комнате, попросил присесть, долго молчал. Потом пробормотал: “Право, даже не знаю, как начать этот разговор. Видите ли, дело в том, что ваш сын…” Я перебил его: “Да, мой Коля осужден, но он ни в чем не виноват, это ошибка, он сам себя оклеветал!” – “Да подождите вы! – он положил передо мной какую-то бумагу. – Ваш сын сбежал”. Я долго не мог после этого прийти в себя. Виктор Валентинович поднес мне воды, положил руку на плечо, сказал: “Крепитесь”, еще что-то. Потом стал говорить, что, вполне вероятно, Коля рано или поздно вернется домой, что он, как бы то ни было, опасный преступник и что я как порядочный человек, в честности которого никто не сомневается, как только Коля появится, дам знать. “Да-да, конечно”, – я был как во сне, кивнул головой и пошел писать дальше. И вот с того дня сколько уже времени прошло, а Коли все нет. Иногда выглянешь вечером за окно, и кажется, он где-то тут, рядом, в темноте, за деревьями. Прячется, боится выйти. Открываю форточку и зову негромко,

чтобы никто, кроме него, не услышал: “Коля! Коля!”

Не обращайте на меня внимания, Евгений Александрович, это я просто вспомнила вчерашнее. И смех и грех. Знаете Жданова? Ну, вы видели его у нас, седьмая вода на киселе и ужасный самовлюбленный дурак. Так получилось, что я была дома одна: муж уехал на инспекцию, Сашенька у бабушки, Вова уже два месяца как в училище. Вдруг приходит Жданов. “Ларочка, – говорит с наглой ухмылкой, – я пришел овладеть вами!” – “Что это, Жданов? Вас мучает страсть? Вот уж не думала, что я роковая женщина!” – “Страсть? Отнюдь. Просто в наших с вами беседах вы так много говорили о нравственности, что это будет моим последним аргументом в нашем споре. Я пришел лишь для того, чтобы искусить вас и ввести в грех, не более”. – “Но вы же, – говорю ему, – отвратительны, Жданов!” – “Поверьте, это не имеет никакого значения!” – и полез мне под юбку. Я хотела засмеяться, влепить затрещину, вылить на его плешивую голову воду из вазы, но на меня напала вдруг какая-то апатия, лень. Не могу объяснить, все произошло как-то само собой, причем я ничего не испытывала, абсолютно ничего. Жданов же кряхтел, сопел, утробно рычал. Потом улегся поперек кровати, свалив набок свой живот, и закурил. Я ему: “Какой вы все-таки нахал, Мишенька! А я вот захочу и влюблюсь в вас!” А он: “О чем вы? Я жену люблю, детей”. Докурил и снова подползает. Вдруг в прихожей шум. Я не пойму, кто бы это мог быть, а на пороге уже стоит муж. Как говорится, немая сцена. Наконец Жданов говорит: “Ну, мне пора!” – и стал натягивать носок. Муж вдруг промямлил каким-то чужим, старушечьим голосом: “Ты разве не видела телеграмму? Я оставил у зеркала. Сегодня приезжает Вова, ему дали увольнение”. – “Да вот он идет!” – сказал Жданов и ткнул пальцем в окно. И правда, Вова открывал калитку, в форме, подтянутый, взрослый, красивый. Мы бросились одеваться. Жданов никак не мог найти второй носок, так и натянул ботинок на босу ногу. Муж застилал кровать. Я не успела даже толком надеть платье, не то что причесаться! Вова сразу бросился мне на шею, потом стал обниматься с отцом, потом обнял Жданова: “Дядя Миша! Господи, как я рад, что и вы здесь! Как я вас всех люблю!” Схватил блюдо с пирожками и принялся, бедный ребенок, запихивать в рот один за другим. Я расплакалась, без конца целовала колючий затылок, загрубевшие руки, покрывшиеся прыщами щеки, пропотевшую гимнастерку. Жданов хотел уйти, но Вова не отпустил его: “Нет-нет, дядя Миша, вы останетесь с нами обедать!” Вова без умолку рассказывал про казарму, про идиотов-командиров, про то, что все нужно есть ложкой, а за яблоко на десерт чуть ли не драться. Мы втроем вели

себя так, будто ничего особенного только что не произошло. А может, и действительно ничего страшного не было. Вова не допил свою чашку, вскочил из-за стола, плюхнулся на диван, закрыл глаза и вздохнул: “Боже, как хорошо!”

Да-да, вы совершенно правы, нет ничего страшного! Вот через меня проходило одно пустячное дело о растрате. Там, понимаете, растратился кассир, солидный такой, порядочного вида мужчина. Он отрицал напрочь обвинения, говорил, что его подставил вор-начальник, и вообще вел себя так, как вел бы себя любой честный, оскорбленный подозрениями человек. Все шло к оправданию. Защита предъявила безукоризненные характеристики, похвальные листы за долголетнюю честную службу. К этому человеку еще располагало то, что в зале в первом ряду сидела его жена и трое одинаково одетых мальчиков. Отец время от времени подбадривал их, громко говорил через весь зал, чтобы они не плакали, что его обязательно оправдают, потому что правда на свете есть, не может не быть. По сути, все дело свелось к одной-единственной записке в несколько строк, предъявленной следствием. Она была якобы написана обвиняемым и являлась доказательством его вины. На суд специально вызвали из Москвы самого Буринского, знаменитого эксперта. От его заключения все и зависело. И вот на третий, кажется, день дошло дело до экспертизы. Встал Буринский – суровый, необъятный, величественный, выше всех на две головы. Его шевелюре и бороде позавидовал бы сам Робинзон. Все затаили дыхание, глядя на знаменитость. Он выдержал паузу и зычно рявкнул: “Вот это – записка, – тут Буринский потряс листком бумаги над головой. – Вот это – образец почерка, – он потряс другим листком. – А вот это – мое заключение. Этот человек – невиновен!” Что тут началось! В зале захлопали, стали чуть ли не обниматься. А Буринский занял свое место и принялся с равнодушным видом разгребать бороду. Оставались какие-то формальности. Записка, письмо, взятое за образец почерка, и акт экспертизы легли на мой секретарский стол. И тут я даже глазам своим не поверил. И то и другое написано было одним и тем же человеком. “Подождите! – закричал я. – Да вы что, это же одна рука!” Я почувствовал на себе глаза всего зала. “Да вы взгляните только: вот и вот!” Буринский, отбросив за плечи седые пряди, удивленно спросил: “Что вы, собственно, имеете в виду?” – “Да вот же, неужели вы не видите? – стал объяснять я. – Ну, возьмите хотя бы взмахи пера. В почерке ведь самое главное – связь букв, ее нельзя ни подделать, ни изменить. Взгляните только на эти *т, п, н* – они же все выведены попочкой вниз, как *и*. Причем, поверьте, это верный графологический признак доброты, открытости, душевной

мягкости. Напротив, эти же буквы, написанные арочками, выдают скрытность, лживость. Обратите внимание, – продолжал я, – и в записке, и в письме – нетвердый нажим. Дело в том, что едва коснувшись листа, перо встречает сопротивление бумаги, и между ними начинается сразу невольная борьба. Вдавленное в бумагу перо отражает внутренний натиск, своенравие, упорство, страсть к противостоянию, воинственность. Здесь же, наоборот, рука уступчива – верный признак восприимчивости, впечатлительности, чуткости, деликатности, такта. И здесь и там буквы некрупные – это чувство долга, самоограничение, любовь к домашнему кругу. А еще отметьте упитанность букв, открытость кверху гласных – все вместе свидетельствует о доверчивости, миролюбии, развитой способности к сочувствию и глубокой привязанности. Более того, смею утверждать, что человек этот обладает и вкусом, и чувством красоты. Взгляните только на изящные, но лишенные каких-либо украшений заглавные, на широкое, почти стихотворное левое поле, на красную строку, что начинается чуть ли не посередине листа. Буквы одна с другой почти не связаны – это созерцательность, возвышенность, оторванность от обыденности, богатство мыслей. Подпись без каких-либо завитушек – ум. О, перед нами незаурядный человек – посмотрите только на удивительную своеобразную форму букв – и разве они, помимо всего прочего, не выдают с головой единое отцовство и аккуратного письма, и неряшливой записки?! Чисто внешняя, поверхностная несхожесть объясняется просто: записка писалась в темноте – вот откуда сплетение неровных строк, слепая неразбериха выросших внезапно букв и слов. Ведь даже минутного внимательного взгляда на эти буквы достаточно, чтобы убедиться в их родстве, – перед нами же чернильные братья и сестры, одноперьевые близнецы! Чего стоит только вот эта точка над *i*, с разбега соскользнувшая в вопросительный знак! И разве можно спутать вот эту заграничную, пришпиленную булавкой *k*? Или вот эту *б*, что все норовит подцепить ближнего? А *ц*, вы приглядитесь к этой жидовочке, умыкнутой Кириллом из Соломоновой азбуки, – сколько грации в крутой линии выставленного бедра!” Они все молчали в каком-то оцепенении, а я все говорил и говорил, не в силах остановиться: “Без сомнения, писавший – натура неординарная, даже, скорее, творческая – вот откуда эта сбивчивость, беспокойство духа, полное отсутствие ритма, который есть душевная сытость, разлитая еще пока вовне смерть. Огромная, не знающая себя жизненная сила круто поднимает концы строчек вверх. Надстрочные и подстрочные вытягиваются, вырываются, пытаются разодрать слово от досады за несделанное, невоплощенное, упущенное!” Тут Буринский

поднялся со своего места. Он пошел к дверям, на ходу надевая шляпу, а когда поравнялся со мной, бросил сквозь зубы: “Дурак!” Как бы то ни было, суд назначил повторную экспертизу, и конечно же признали, что записку писал кассир. Его осудили, а после заседания, когда все одевались в гардеробе, ко мне подошел судья и сказал: “А Бог вас накажет, вот увидите!” И ничего, живу. Живу, дышу, ем, извожу каждый день уйму бумаги. По-прежнему перо мое скрипит, казнит и милует. Что ж в том такого? Вполне предполагаю, что вот сейчас, в эту самую минуту, он скулит от голода, или мерзнет, или его насилуют, выбив все зубы, сокамерники, или вовсе его уже нет в живых, лежит где-нибудь в морге с биркой на большом пальце, или просто выцвел от времени, написанный дешевыми чернилами. И нет в этом ничего страшного. Боже мой, да чем он лучше меня или хоть вас, чтобы жалеть, потому что не было еще такого дела, пусть самого длинного и запутанного, в конце которого перо не поставило бы, поскольку больше ничего не будет, точку.

1991

Гул затих…

Много лет назад я всё знал.

Я ничего еще тогда не написал, но знал про себя, что – писатель. Вернее, писал много, но ничего не получалось довести до конца. Я уже вроде бы существовал, ходил в школу, ездил на метро, ел, пил, но еще не стал настоящим. Существование необходимо доказать, поставив в тексте последнюю точку.

Мне была открыта сокровенная тайна мироздания. Все сущее состоит из атомов и прочей невидимой дряни, которую никто не видел и не щупал, каких-то там элементарных частиц. Но они-то, в свою очередь, состоят из букв.

Я знал, что будет потоп. Обещали ведь, что не будет, но наврали. Обязательно придет. Каждому – по потопу. И нужно спастись. Сколотить свою лодчонку. Написать свою книгу. Найти нужные слова, которые переживут сорок дней разверзшихся хлябей небесных.

Мы жили на “Щелковской”, в хрущобе на 13-й Парковой, на последнем, пятом этаже, и поверх деревьев из окна виднелось здание местной школы, с четырьмя медальонами на фронтоне – писательские головы в профиль. Они тоже всё знали и всю жизнь строили каждый свой ковчег. Что там осталось от их эпох? Брички? Кринолины? Примусы? Соседи? Прохожие? Любимые? Пшик. Их книги и стали теми эпохами.

Все дело было в том, – знал я, – чтобы написать правильные слова. Вот ученики встретили Его на пути в Эммаус и не узнали. Не поверили. Ведь в гроб сошел. И еще никто никогда не воскресал. А Он им: Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это – Я Сам. Осяжите меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И еще спросил: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему, что ели сами, печеную рыбу. И взяв ел пред ними.

Все дело в печеной рыбе. Рыба-то настоящая. Мертвые рыбу не едят.

Я в гроб сойду. На третий день восстану.

Сам текст “Живаго” после Бунина и Набокова казался какой-то расползшейся словесной тушей, но стихи из романа я знал наизусть. Они меня спасали. Чаще в переносном смысле, но иногда в прямом.

Я учился на Арбате и ездил каждый день по часу туда и

обратно. От нас до “Щелковской” можно было подъехать пару остановок на автобусе. Там ходили 52-й, 68-й, лучше, конечно, на 516-м, тот промахивал 11-ю Парковую экспрессом.

Помню, возвращался зимой из школы, выхожу из метро, страшный мороз, темно уже, автобусов нет, толпа огромная собралась, все топчутся, мерзнут, ругаются. Я пообедать не успел, а тут запах от горячих беляшей ноздри дерет – бабка в валенках продает беляши из огромного парного чана. Купил два беляша, сжевал, в животе сразу резь. Ноги задубели, пальцы от мороза ноют, нос вот-вот отвалится. Автобусов все нет. Люди, матерясь, идут пешком. Потоптался и тоже поковылял.

Плетусь в морозной темноте с резью в желудке и спасаю себя волшебными строчками:

> И, как сплавляют по реке плоты,
> Ко Мне на суд, как баржи каравана,
> Столетья поплывут из темноты.

И я тогда знал, что это Пастернак сказал про себя. Это он сошел в гроб, а потом восстал. Мы же ездили к нему в Переделкино на кладбище, и я знал, что там, под камнем, его не было. Вот рядом кладбище старых большевиков – там все шеренгами лежали на месте, где положили. А Пастернак там быть просто не мог, потому что он шел со мной по пути со “Щелковской” на 13-ю. Мимо один за другим проносились пропавшие автобусы, наверно, делали крюк через Эммаус. А он шагал со мной. В могиле его быть не могло, потому что он был во всем вокруг меня. Он был всем – паром изо рта, и полупустым 516-м, и съеденным беляшом, и резью в кишках, и задубевшими ботинками, и ледяными раскатанными на тротуаре дорожками, и матом, и звездами, и продрогшими пятиэтажками, и каждым, кто в них ютился.

Я знал, что это к нему на суд поплывут столетья, как плоты.

Знал, что и я поплыву когда-нибудь к нему на суд.

Тогда я все это знал.

А теперь пишу эти строки, за окном дождь, бесконечный, вот уже сорок дней никак не остановится, – и не знаю.

За стеклом в накрапах – игрушки разбросаны на мокрой траве. В алой пластмассовой песочнице потоп для человечков из лего. Розы положили свои тяжелые головы друг другу на спину, как лошади.

Может, я растерял то сокровенное знание по дороге?

Ведь я знал всё, кроме времени. Да и не мог знать. Просто его еще не было. Было только будущее и не очень настоящее

настоящее, походившее на затянувшееся предисловие.

Время – это когда ты смотришь в зеркало и удивляешься: откуда эта чужая седина? Откуда эта чужая морщинистая кожа?

И все еще тянутся те три дня до воскресения. И никакого Эммауса.

А в ту соседнюю школу с классиками на фронтоне мне пришлось походить.

Мама была директором в нашей 59-й на Арбате, и она меня выгнала. Последней каплей был субботник. Я ушел с ленинского коммунистического субботника и увел с собой половину класса. Так что доучивался по месту жительства.

В новой школе было великое преимущество – вставать не нужно было рано. Из дома выходил за пять минут до звонка. Правда, это оказалось единственным и последним преимуществом.

По литературе проходили Толстого. Чуть ли не на первом же уроке – классное сочинение по “Войне и миру”. Все открывают учебники и списывают. У нас это было бы немыслимым. С другой стороны, хоть перестали плевать друг в друга мокрыми катышами через трубочки от шариковых ручек.

Почти всем моим новым однокашникам литераторша поставила пятерки, мне единственному досталась тройка. На вопрос умника “а почему?”, получил ответ:

– Отсебятина.

Отсебятина! Кажется, впервые тогда почувствовал, что критика может быть наградой.

– Но Толстой ведь тоже – отсебятина.

Как она оскорбилась за Льва Николаевича, и за “Войну и мир”, и за всю русскую литературу!

Какое чудесное слово – отсебятина! Спасибо тебе, русский язык!

Сказать, что новенького не полюбили, – ничего не сказать.

У нас в школе “война” была цирком с отставным полковником на арене. А тут всё оказалось по-другому. Здесь у военрука на уроке был порядок, как на Красной площади во время парада, все даже сидели навытяжку и к доске выходили торжественным шагом, оттягивая носок. “Калашников” разбирали и собирали, завязав повязкой глаза, с секундомером и удалью. На своего майора юноши, не говоря уже о девушках, смотрели влюбленными глазами. И вообще, класс, который только что бесился и срывал урок беременной биологичке, на НВП было не узнать.

Военрук был совсем еще не стар, в отставку вышел по ранению, левая рука всегда была в черной перчатке и звонко

стучала, когда он опускал ее на стол. Про него говорили, что он “исполнял интернациональный долг” где-то за границей, но это военная тайна. Короче, он был героем.

На первом же занятии новенький заявил, что он пацифист, в людей стрелять никогда не будет и до автомата не дотронется. Предупреждение, что он получит плохую отметку, вызвало у него лишь снисходительную усмешку.

– Но скоро класс поедет на стрельбы, мы будем соревноваться с другими школами. Ты же не хочешь подвести твоих товарищей?

Но и этот аргумент не поколебал стойкость пацифиста.

Помню, что услышал в голосе майора настоящую печаль. Он сказал с горечью:

– Ты – плохой патриот, Шишкин. Когда начнется война, твои одноклассники пойдут умирать за родину, а ты станешь дезертиром.

И его черная перчатка поставила деревянную точку.

Это прозвучало приговором, а я, может, впервые ощутил, что такое чувство собственного достоинства. Это когда тебя будут бить, и ты к этому готов.

Меня били за гаражами, около школьной помойки. Парни из класса выкрутили мне руки, и по очереди от каждого я получил под дых. Потом засунули в бак с мусором.

Те, что в медальонах на фронтоне, отвернулись, только косились и еле слышно сквозь зубы: а ты как думал? Ты на нас посмотри! Нас тут самих построили – в затылок друг другу по стойке смирно. Кто это из наших сказал, что вечность на самом деле – изба с пауками? *Wishful thinking!* Вечность – это когда тебя, не спрашивая, во все дырки. Но им надо всё простить, ибо не ведают, что творят. Нас построили – и тебя построят. Будешь шагать в ногу и смотреть в затылок. Не сахарный, не растаешь. *Die erste Kolonne marschiert*, Сусанна должна ждать старцев, жизнь прожить – не поле перейти. Понимаешь, это – наша страна. Но они ее оккупировали. И ты в плену. Война. И они, оккупанты, могут сделать с тобой что захотят. Урыть, отмудохать, облевать. Но им недоступно твое сокровенное знание. Это ведь только им, наивным, кажется, что они начальник, а ты дурак. Чудаки, право слово! Не однорукий майор имеет над тобой власть, а ты над ним. От тебя только зависит, исчезнет он или останется. Захочешь, когда-нибудь возьмешь и воскресишь его, скажешь ему, давно сгнившему, выйди вон! – и он тут как тут выскочит из небытия и снова вздохнет горько: “Шишкин, ты плохой патриот!” Вот увидишь, всё так и будет! На войне нужно победить. Победить – это выжить, чтобы написать. Или написать, чтобы выжить. Что-то мы тут запутались, но это не важно. Короче,

выжить, чтобы написать, чтобы выжить. Вот это твоя война, и ты не дезертир. Помни, ты в плену у врагов, у тебя есть то, чего нет у них, – твое сокровенное знание, за которое ты отвечаешь. И, кстати, черную перчатку с деревянным стуком возьми себе, пригодится! Можешь потом отдать какому-нибудь проходному персонажу, такие детали запоминаются. И главное, заруби себе на носу: победить – это поставить точку в конце текста.

На следующем уроке военного дела новенький взял автомат и стал его разбирать.

И я знал, зачем это делаю. Это была моя война, и я не был дезертиром.

Однорукий военрук тогда сказал не “если” будет, а “когда”. Странно, казалось, у всех была уверенность, что войн больше не будет. А войны потом пошли гуськом и оравой. Так что возможностей умереть за родину было достаточно. Умирай не хочу. Наверно, у майора тоже было какое-то свое сокровенное знание.

Когда началась афганская, я был студентом. В педагогическом институте на ром-герме была военная кафедра, из нас готовили переводчиков. Раз в неделю мы ходили строем и учились переводить допросы пленных солдат Бундесвера.

После четвертого курса нас отправили в летние лагеря под Ковровом недалеко от Владимира. Вернувшись оттуда, я взахлеб настрочил повесть. Впервые я поставил точку в конце текста. В нем было много мата, задора, молодой злобы и радости слов, короче, в тексте было до отвала первого писательского счастья и рядовой Говнюк писал письмо космонавтке Терешковой.

Произведение с названием “Пиф-паф, ой-ой-ой!” получилось очень юношеским, и поэтому юноша через какое-то время его уничтожил.

Был бы камин, не было бы проблем. Рукописи, понятное дело, не горят. Но я положил тот текст в мусорное ведро и вынес на помойку. Вот вопрос: выброшенные на помойку рукописи не горят?

Запомнилась ночь перед отъездом в лагеря. Сбор был на Курском вокзале рано утром. Я всю ночь не мог заснуть. Была жуткая гроза, но не спалось мне, конечно, не из-за грозы. Всё тело гудело, так гудят провода от тока. Это гудел еще не написанный текст. А может, все ненаписанные романы, которые ко мне приближались уже из темноты, но нужно еще было долго жить, чтобы их дождаться. Я не мог лежать от этого гудения, вскакивал, бродил по квартире, сидел подолгу у окна и смотрел, как на улице всё полыхает и содрогается. И внутри, в комнатах, всё грохотало – это храпели мама и тетя Лида.

Тетя Лида была двоюродной сестрой мамы и приезжала раз-два в год в Москву с Украины. Тогда вся страна регулярно ездила в столицу затовариваться. С утра до ночи она бегала по магазинам, выстаивала в очередях и увозила в свое Запорожье всё, что могла достать, от колбасы до пылесоса. Я обычно провожал ее на Киевский с неподъемными чемоданами и коробками. Она была женщина пышная, и разговоры у них с мамой без конца велись о разных диетах и чудесных способах похудения. Мама где-то прочитала про парижскую диету, и в один из приездов тети Лиды обе решили худеть, как парижанки. За весь день можно было съесть лишь одно яблоко и кусочек сыра. Никогда не забуду, как тетя Лида, бодро продержавшись на диете до самого вечера, не выдержала и навернула перед сном тарелку борща с рюмкой водки.

У нее был сын, Алеша, на два года младше меня. Он был заикой и обычное “да” или “нет” брал только с третьего или четвертого захода. Иногда тетя Лида привозила его с собой в Москву. Мне с ним было неинтересно. Он не читал ни одного запрещенного поэта или писателя, даже не слышал их имен. Его интересовали только модели самолетов. У себя в Запорожье он был математическим вундеркиндом. Когда я был на втором курсе, он приехал с тетей Лидой на вступительные экзамены в МАИ. Никто не сомневался, что сдать экзамен для него будет легким орешком. Но Алешу не приняли. Разумеется, не из-за его заикания. В конкурсе знакомств и протекций у него было слишком мало шансов. Алеша вернулся домой, а осенью его забрали. В декабре начался Афган.

Куда Алешу послали после учебки, было неизвестно. Помню, как мама по телефону успокаивала тетю Лиду, что его туда точно не пошлют, мол, туда совсем молодых и неопытных разве посылают?

Туда его и послали.

Из Запорожья мы получили телеграмму: “Алеша погиб”.

Через пару месяцев тетя Лида снова приехала в Москву за покупками. Весь первый вечер она с мамой проплакала за столом на кухне. Рассказала, как им привезли гроб, который нельзя было открыть. В официальном письме было написано: “Ваш сын погиб при исполнении интернационального долга”. При этих словах тетя Лида снова разрыдалась:

– Какой долг? Почему долг? Зачем убили моего Алешеньку?

Еще она рассказала, что у кого-то из знакомых сын тоже служил в Афганистане и вернулся по ранению. Он привез с собой горстку афганской земли, и тетя Лида попросила себе немного. Она достала из своей сумочки свернутый носовой платок,

положила на стол и осторожно развернула.

Кусочек засохшей глины. Ничего особенного.

Потом бережно завернула обратно, прижала к груди и снова заплакала.

А на следующий день тетя Лида, как обычно, побежала по магазинам. Вечером вернулась с полными сумками, уставшая, но довольная. Особенно радовалась, что смогла достать зимние сапоги. Она надела их и ходила, цокая каблуками, заполняя квартиру резким запахом кожи и обувного магазина.

Я смотрел на нее и знал теперь больше, чем раньше, но это было какое-то другое знание, не сокровенное, но от этого не менее настоящее. А может, и более. Вот передо мной радовалась новым сапогам женщина, у которой отняли самого ей дорогого человека на свете. Убили на чужой войне. И убили, наверно, как убивали в Афганистане, с бессмысленной жестокостью. Ведь рассказывали, как там убивают. Просто отнять жизнь мало, нужно еще обезобразить труп, выколоть глаза, набить камни в разрезанный живот. И вот теперь эта женщина рассказывала, где и сколько она стояла в очереди и что ей удалось добыть. И каблуки так звонко цокали по плиткам пола на кухне, что тетя Лида даже не удержалась и прошлась чечеткой. А потом они с мамой обсуждали какую-то новую диету.

Это было такое простое оглушительное знание.

И вот снова тетя Лида была у нас в гостях. Снова они с мамой, обнявшись, плакали, вспоминая Алешу. А потом вечером пошли куда-то в театр, вернулись поздно и теперь храпели наперегонки с раскатами грома.

А еще я не спал из-за того, что поссорился с моей любимой. Поругались из-за ерунды. Сейчас даже не помню, что там произошло. И не хотелось уезжать в военные лагеря вот так, разорванным.

Потом гроза кончилась, быстро рассвело, я оделся, набросил на плечо собранный накануне рюкзак и отправился на Курский вокзал.

Начались дни и ночи, битком набитые муштрой, пылью, голодом, усталостью и поносом. Спасал карманный английский словарик, который я всегда носил с собой в солдатских галифе образца великой отечественной. При первой возможности вынимал его и листал. Принимал вокабуляр как лекарство. Буквы защищали меня как оберег.

Носки сразу же отобрали, пришлось познать портянки. Результатом этого знания были кровавые пузыри у всех на ногах. Хромоногая команда. На следующий день все поковыляли в медпункт – дощатая будка, в которой забаррикадировался

студент-медик. Требовали пластырь.

– Ребята, да нет у меня ничего! – кричал он из-за двери.

Все продукты мы обязаны были сдать, но никто, конечно, ничего не сдал, а консервы закопали в лесу, кто-то опытный из уже отслуживших подсказал. Лагерная еда желудком не переваривалась, всех пучило и каждый беспрерывно исторгал из себя газы. По воскресеньям устраивали набеги на ближайшую деревню, чтобы украсть молодую тонкую морковку с грядки или обтрясти яблоню. Неудивительно, что у всех был понос.

На сборах были студенты из разных вузов, переводчики, историки, биологи, филологи, юристы, философы. Философы, кстати, были в мотопехоте, их муштровали больше всего. Нас, переводчиков, чаще освобождали от занятий, когда нужно было отправить кого-то, например, на разгрузку машины. Офицеры говорили мотопехам:

– Вот попадете в Афган, вспомните нас добрым словом. Учитесь стрелять получше!

Еще у нас были ребята из Института Азии и Африки, которые изучали пушту и дари. К тем вообще отношение было особое, как к смертникам. На них никогда не кричали и не отправляли в наряд. Всем было ясно, что этих парней не ждет ничего хорошего.

Мы всегда и всюду топали строем и с песней. Из калашникова стреляли лишь один раз. С вечера до утра мучило ненасытное комарье – не помогали никакие мази, ходили все исцарапанные до крови. Уборной избегали – загадили весь лес кругом. По команде “подъем” хотелось всех расстрелять.

Человек быстро обрастает звериной шерстью.

Наряд на кухне означал возможность нажраться деликатесом, не доходившим до солдатского стола, – тушенкой. Открываешь банку и съедаешь половину. Вторая половина шла на офицерский стол. Угрызений совести не было. В конце концов ты съедал только то, что тебе и так было положено, но съедалось другими. А теперь наступала твоя очередь.

Память выметает обрывки.

Утром с голым торсом нужно бежать в тяжелой кирзе на зарядку, у всех руки и шея черные, а тела белоснежные, вернее, синюшные.

Вот мы зубрим устав под навесом, а по крыше накрапывает редкий сонный дождь.

От недосыпа раскалывалась голова. За ежедневной чисткой автомата всё время клюешь носом и отключаешься на несколько мгновений.

На тактических занятиях разбегаемся “елочкой”, залегаем. Перед самым носом – высохшая колючая шкурка от мертвого ежа.

Нужно было окапываться саперной лопаткой, а кругом заросли земляники. Ягоды спелые, запах ползет как лазутчик.

Топаем по проселку, и сапоги вздымают клубы пыли, плотные, ядовитые, ни откашляться, ни отперхнуться.

У меня пропала пилотка. Кто-то украл. Эту украденную пилотку я потом через много лет отдал моему герою в “Письмовнике”. Наш институтский полковник Иванов, приехавший на сборы, уже пьяный после обеда, процедил сквозь зубы:

– У тебя, Шишкин, пилотку спиздили. Вот пойди и ты у кого-нибудь спизди! Я тебе нашу кафедру позорить не дам! Не будет пилотки – будешь каждый день в наряд ходить сортир драить. Понял?

Драить сортир было главным наказанием и, если увидеть тот залитый жидким говном настил с дырками в полу над выгребной ямой, и не просто увидеть, а вдохнуть всей грудью, то станет понятно почему.

И за это знание я благодарен: в говне нет ничего грязного.

Удивительно, как устроен человек, – еще только что меня тошнило от одной мысли зайти туда, а вот уже я со шваброй, тряпкой и легким сердцем отправляюсь мыть лагерные уборные. Это была моя свобода. Сам весь измазался и пропах. Отмывался потом ледяной водой битый час. Собирался идти в наряд и назавтра. Не пришлось. На следующий день отделение дежурило на кухне, один парень из испанской группы нашего факультета разгружал машину с хлебом, споткнулся и упал. Со сломанной рукой его увезли в больницу во Владимир. Мне досталась пилотка.

Вообще, было много глупостей, смешных и не очень.

Проходит мимо прапорщик, воскресенье, видит, что мы в свободное время спать завалились, приказывает вырыть вокруг палаток канавки. Выкапываем. Возвращается прапорщик, видит, мы уже все выкопали, приказывает:

– Закапывайте!

Кто-то возмущенно:

– Но для чего?

А прапорщик ему выдал никак не ожидаемое:

– Для всеобщей гармонии!

Это стало у нас в лагерях присказкой и девизом: для всеобщей гармонии. Решили, что прапорщик был тайным конфуцианцем.

Что-то было совсем не смешно.

На марш-броске – 15 километров с полной выкладкой под палящим солнцем – умер студент с исторического факультета

МГУ. Все ходили придавленные и передавали друг другу слово “тромб”.

Время перед отбоем – самое дорогое. Можно немножко вернуться в себя. Заварить чаю. Все сделали себе самодельные кипятильники, я таких раньше никогда не видел: между безопасными лезвиями от бритвы нужно проложить спички, обмотать нитками и приделать два проводка. Кружка вскипала моментально.

Запомнилось, как в один из первых вечеров вдруг услышали Высоцкого. Магнитофоны брать с собой было, конечно, нельзя. Вообще, ничего было нельзя, кроме зубной щетки. А тут живой Высоцкий под живую гитару. Все высыпали из палаток, пошли на голос. Ведь не мог же человек восстать из гроба? Он умер прошлым летом.

Оказалось, что это кто-то из университетских мотострелков. Он потом вечерами часто пел. Его так и звали все – Высоцкий.

Сидишь, пришиваешь подворотничок, и песни эти тебя из лагеря уносят, можно забыться, вспомнить что-нибудь хорошее.

Я видел живого Высоцкого только раз. В “Гамлете” на Таганке. Это было летом 80-го, перед самой Олимпиадой. Наверно, вообще один из последних спектаклей с ним. Там всё самое главное произошло уже до начала, до первых произнесенных со сцены слов. Высоцкий сидит в глубине сцены перед знаменитым огромным занавесом, смотрит на входящих в зал и наигрывает на гитаре. А потом, когда публика рассаживается, он встает, выходит на авансцену, и начинается:

Гул затих, я вышел на подмостки…

Так должно было быть. Но вот все уже расселись, шум затих, и Гамлет должен встать. И вдруг зал замирает, потому что Высоцкий отложил гитару, а встать не может. Всем было понятно: происходит то, что не должно происходить. Он несколько раз пытался подняться, хватался за занавес, но нога не сгибалась. Он просто не мог встать. Это не было уже театром, это было что-то намного больше самого великого театра, борьба человека с чем-то, что сильнее его. На его лице уже было всё. Он уже всё про себя знал.

Прошла пара минут, но казалось, что времени уже вообще больше не будет.

В конце концов Высоцкий встал, подошел, чуть хромая, к авансцене, помолчал немного и начал спектакль:

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку́.

Века у него уже не было. Ему оставались считанные дни.

Странно, в песнях и фильмах Высоцкий был совсем другим. На сцене он был очень нежным Гамлетом.

В десять отбой. Хотелось поскорее забыться хоть на несколько часов, пусть и в душной палатке на вонючем матрасе под зудение комаров и матерные вздохи.

Уже в полузабытьи иногда приходила она, моя любимая, пожелать мне спокойной ночи. Наша ссора теперь казалось такой никчемной и невозможной. Было совершенно непредставимо, как мог я бросать ей обидные слова, такие глупые, такие несправедливые! Готов был простить всё, что она мне наговорила, лишь бы снова оказаться с ней хоть на час. На день. Еще лучше на два дня. Нет, на три. Теперь казалось, что за возможность встретиться с ней все бы отдал и был бы самым счастливым на свете. Говорил бы ей все ласковые слова, какие никогда не говорил. Вырваться отсюда только на три дня к ней было бы абсолютным счастьем. Любил бы ее с утра до утра и в минуты отдыха записывал бы текст, который уже пришел, бился под кожей, слова уже сами стремились в объятия друг другу, как кусочки пазла. И эти три дня никогда бы не кончались.

Потом была ночь, когда я должен был стоять под грибком, охраняя склад с оружием.

У меня был штык на поясе и целая звездная ночь впереди.

Нам сказали, что в соседней зоне был побег и что зэки могли прийти сюда за оружием. Может, так и было, а может, пугали, чтобы мы сразу не устроились спать.

Я подождал, пока лагерь замер, и отправился в ближайший лесок, где под заветной елкой были закопаны банки со сгущенкой, которые сварила для меня перед отъездом мама. Вернулся на пост и вскрыл банку штыком. Если вспоминать пики счастья в жизни – это был один из них.

Из палаток до меня доносился храп, кто-то стонал во сне, а я слизывал со штыка варенную сгущенку, смотрел на звезды и мечтал о том, как я все это когда-нибудь опишу.

Вдруг в темноте за кустами мелькнула чья-то тень, и я услышал шаги. В голове промелькнуло: зэки! Сейчас меня прирежут, а я еще ничего в этой жизни не сделал, ни одного текста до конца не дописал! Но это оказался парень с

английского отделения, который стоял в карауле на другом конце лагеря. Мы доели эту банку, и я сбегал еще за второй.

Мы сидели под небосводом, заросшим звездами, ели вареную сгущенку и читали друг другу стихи, кто больше знает.

Утром меня, очумелого после бессонной ночи, вызвал наш полковник, тот самый, из истории с пилоткой, и сказал:

– Тут такое дело, Шишкин…

И протянул телеграмму.

“Миша дедушка умер похороны срочно приезжай мама”.

Похлопал по плечу:

– В общем, так: сдавай оружие и обмундирование прапорщику и поезжай. Можешь уже не возвращаться. Чего там – три дня осталось.

Я все сдал, переоделся в гражданку, ставшую вдруг такой чужой, и отправился на станцию.

Я помню, как умирал дед.

Он умер зимой. Я был в восьмом классе. Приехал к бабушке и дедушке на каникулы, хотя в этом возрасте – мне было тринадцать – поездки в Удельную были уже семейным долгом, а не радостью. В этот раз со мной приехала и мама, наверно, ей позвонила бабушка и сказала, что дела плохи.

Дед, как обычно, лежал в своей постели. Но взгляд его был какой-то совсем другой, новый, я раньше этого взгляда не знал. Бабушка мне шепнула в коридоре:

– Вот, Миша, дедушка наш – не жилец.

Она уже знала этот взгляд, а для меня это было впервые. Во мне все возмутилось против нее:

– Ну как ты можешь!

Бабушка в ответ лишь тяжело вздохнула.

Дед уже не разговаривал, ему было совсем плохо. Вызвали врача. Вызов скорой в то время был приключением. Нужно было бежать на почту на другую сторону железной дороги, там были телефонные кабины. Послали вызывать скорую меня. На том конце провода все никак не могли поверить – голос-то мальчишеский – задавали всяческие вопросы, проверяли.

– А то звонят хулиганы, скорая приезжает, а никакого больного нет!

В конце концов я как-то сумел их убедить, что не хулиганю. Пообещали послать машину.

Скорая из Раменского ехала целый час. Причем нужно было стоять на углу Солнечной и нашего Солнечного тупика, чтобы они не заблудились. Я весь продрог, пока их ждал. В тупик машина не поехала, там всё было завалено снегом и шла только протоптанная в сугробах тропинка. Врач сунул мне свой

чемоданчик, оказавшийся ужасно тяжелым.

Помню, меня удивило, что доктор говорил с дедом каким-то наигранным бодряческим тоном, как с ребенком. Дед ничего ему уже не отвечал, только смотрел все тем же пристальным взглядом.

Дед задыхался. Врач сказал, что здесь, в домашних условиях, ничем он помочь не может, нужно забирать в больницу. Врач уехал, за дедом должна была приехать другая машина. Стали его собирать, выяснилось, что нет теплых носков. Меня послали в магазин на станцию за носками. Перед тем как бежать в магазин, я зашел к дедушке. В комнате никого больше не было.

Деда трясло, кровать ходила ходуном. Лоб сверкал от пота. Руки дергались. Он скосил желтые помутневшие глаза и смотрел на меня. Хотел что-то мне сказать, но вместо слов его горло выдало какую-то странную трель. Так под эту трель я и ушел. Помню, как бежал за этими дурацкими носками. Когда вернулся минут через двадцать, дедушка уже умер. Наверно, за носками меня специально послали, чтобы я не видел смерти. Думали, пока я туда, пока обратно, много времени пройдет. А я мчался что есть мочи. Но сам момент смерти я действительно пропустил.

Все тогда делали сами. Обмывать тело позвали помогать соседку.

Деда положили на стол на террасе. Она не отапливалась. На террасе складывали осенью яблоки в ящиках. После морозов они чернели. Я ужасно любил замороженные яблоки. Когда оттаивали, они растекались во рту, сочные, сладкие.

Похороны были в воскресенье. Те два или три дня перед похоронами я на всё смотрел как в иллюминатор какого-то батискафа. Как они все тут живут и не знают чего-то важного? А вот я теперь знаю. Или они тоже все знают? Тогда почему делают вид, что ничего не знают?

День похорон был солнечный, началась оттепель. Снег хорошо лепился. Помню, как мне неприятно было, что брат затеял, пока все собирались, кидаться снежками.

Приехали какие-то люди, которых я совсем не знал, но в основном пришли соседи.

Когда перекладывали тело в гроб, я поднимал его за бедро – меня поразило, что дедушкино тело стало твердым и звонким, будто это не человек, а фигура изо льда.

Хоронили на кладбище в Малаховке. Деда положили в могилу к его первой жене, моей бабушке Розе.

Когда закрывали гроб крышкой, нужно было подойти и поцеловать. Я подошел. Но поцеловать то, что там лежало, так и не смог.

Гроб выскользнул из веревок, лег как-то криво. Когда забрасывали могилу песком, мама заплакала. Я обнял ее. Она тихо сказала:

– Вот же здесь должна лежать моя мама, а от нее ничего не осталось за двадцать три года.

Помню, что тогда вдруг задумался, может ли за это время гроб с телом человека так разложиться, чтобы ничего не осталось? Ведь не может же? Значит, они вырыли могилу где-то рядом. На старых кладбищах соседи все время друг друга теснят. Вполне вероятно, что рабочие чуть передвинули полузабытый памятник с оградой, чтобы дать место вновь прибывшим.

Кто бы мог подумать, что через столько лет дед воскреснет и опять умрет, чтобы вот так снова появиться в моей жизни, смертью смерть поправ.

Я не шел по лесу к станции, я летел над разбитой дорогой и пыльными кустами.

Я знал, кто послал телеграмму.

Впереди меня ждали три бесконечных дня любви и свободы.

Электричка была переполнена. Там были бабы, слобожане, учащиеся, слесаря. В ту минуту я их тоже любил.

Пришлось всю дорогу стоять, но мне было всё равно. В руках у меня был заветный блокнот. Я записывал уже давно пришедшие слова:

“Уважаемая Валентина Николавна! Пишет Вам из далекой Н-ской части рядовой Говнюк. Вам из космоса Земля наша кажется совсем маленькой, не больше капустного кочана, и меня, наверно, и не видно. Но я есмь”.

В вагоне стояла духота, все пытались открыть окна, но они были завинчены на зиму. Воздух шел только из одной разбитой фрамуги.

Как сейчас ощущаю тот тугой напор ветра на быстром перегоне, холодящий потную кожу. За спиной тлеет перебранка, младенец надрывается, вагон дребезжит, колеса грохочут, встречные ревут, но для меня гул затих.

И я знаю, что эти три дня будут длиться и никогда не кончатся, и пальцы, укрощая дрожь электрички, выводят: я есмь.

2016

Клякса Набокова

Ничего не надо выдумывать.

Я стоял в зале прилета аэропорта Клотен, держал табличку с фамилией КОВАЛЕВ и чувствовал себя счастливым.

Нашему сыну еще не было и года. Жена сидела с ним дома, я никак не мог найти постоянную работу. Экономили на всем, но моих случайных заработков не хватало даже на оплату квартиры. А тогда еще приближались сразу два дня рождения – сперва сына, потом жены. Мне во что бы то ни стало нужно было найти деньги им на подарки. И тут подвалило счастье: я получил заказ из одной фирмы, которая иногда мне подбрасывала переводы! Нужно было встретить клиента в аэропорту, отвезти в отель, потом в банк, потом в Монтрё.

Итак, я стоял в аэропорту и радовался жизни. Помимо заработка, особенно радовало, что предстояла поездка в очень важное для меня место – к Набокову. Клиент заказал себе тот самый номер в “Монтрё-паласе”, в котором жил писатель, так что и для сопровождающего переводчика появлялась возможность оказаться в этом святом месте. Я стоял с табличкой в ожидании запаздывающего рейса и мечтал, как сяду за тот самый стол, открою выдвижной ящик и увижу знаменитую кляксу, о которой столько раз читал. Клякса Набокова! Можно будет дотронуться до нее пальцем!

Тут я увидел Ковалева. Я узнал его сразу. А он меня, конечно, нет. Мне и в голову не могло прийти, что это может быть тот самый Ковалев! Мало ли на свете Ковалевых?

Первым моим порывом было вручить ему табличку, развернуться и уйти.

Но с ним были его жена и дочка. Девочке было лет пять, она мне улыбнулась и протянула пингвина, мягкую игрушку, с которой не расставалась и в самолете. Я не знал, что с ним делать, но оказалось, что мне просто нужно было познакомиться. Пингвина звали Пинга.

И вот вместо того, чтобы уйти, я подал Ковалеву руку и стал говорить все, что положено в таком случае: “Добро пожаловать в Цюрих! Как долетели?”

Мы поехали в гостиницу, они остановились в Бор-о-Лаке, самом дорогом отеле города.

В такси Ковалев без конца решал какие-то срочные вопросы по двум мобильным сразу, а в короткие перерывы вступал в разговоры со мной. Суждения его по любому поводу были безапелляционными:

– *Swissair* совсем опустился! И опоздали, и обслуживание было ужасное!

Или:

– Ну, подумаешь, Альпы. Вот у нас на Алтае такие места есть!

Или:

– Швейцарцы такие порядочные только потому, что их двести лет никто за жопу не брал!

Я был лишь сопровождающим переводчиком и не спорил. Мне платили по часам.

Я помнил Ковалева белобрысым худым юношей с комсомольским значком, который, кроме него, никто не носил и который он сам снимал, выходя из института, а теперь это был “нуворюс” в дорогом костюме, со статусным животом и ранней залысинкой.

Мы когда-то учились вместе в нашем Московском педагогическом институте имени Ленина. Я на немецком отделении, а он на английском, курса на два меня старше. Он был комсомольским функционером и выступал с трибуны с речами на факультетских и общеинститутских собраниях. В ректорате Ковалева любили, потому что он поставленным голосом доносил до нас решения партийного съезда, как радостные откровения, а мы его за это же презирали. После окончания института он остался по комсомольской линии в столичном райкоме. Было ясно – такой в той жизни далеко пойдет.

А теперь была совсем другая жизнь, но Ковалев и в ней оказался наверху. А я внизу.

Моими услугами переводчика Ковалев и не думал пользоваться – в гостинице он сам объяснился на беглом английском, потом отправился в банк на переговоры, а меня отправил с женой и дочкой гулять по Цюриху. Бывший однокашник сразу дал мне понять, что платит скорее за услуги лакея, чем переводчика. Гид-лакей полагался по статусу.

Жену Ковалева звали Ирина. Такая жена тоже полагалась Ковалеву по статусу – молодая, красивая и, разумеется, блондинка. И прогулка по Цюриху тоже соответствовала ее статусу – она скупала что было подороже в бутиках на Банхофштрассе. Яночке, дочке, в магазинах было скучно, и я развлекал ее разговорами про пингвинов.

– А ты знаешь, – спросила она, – что пингвины так любят своих детей, что ничего не едят по полгода, пока греют яйцо с ребеночком, чтобы оно не замерзло?

– Да, что-то такое видел по телевизору. – ответил я. – И кажется, яйцо у пингвинов высиживает именно папа.

– Правда? – удивилась Яночка. Кажется это придало ей гордости за ее собственного отца. – А папа мне все-все покупает, что я захочу! И еще он обещал мне покататься на пони!

Ирина, похоже, была уже раньше в Цюрихе, потому что в конце концов не я водил ее по магазинам, а она меня. Я обреченно следовал за ней с покупками. Потом мы сидели в кафе *Sprüngli*, и Ирина рассказала, что она – бывшая спортсменка, занималась художественной гимнастикой. Это было видно по фигуре. Похоже, ей хотелось с кем-то поболтать. Ее мечтой было работать тренером, но муж хочет, чтобы она сидела дома с ребенком. И тут мне пришлось выслушивать, какой Ковалев хороший отец, как он любит Яночку, души в ней не чает!

Я смотрел на Ирину и пытался понять: она его действительно любит или просто выгодно вышла замуж? Она не производила впечатление глупой блондинки. И казалось, действительно любит Ковалева.

– На самом деле я терпеть не могу ходить по магазинам, – вдруг призналась она. – Просто нужно купить подарки знакомым и родственникам и вот все время боюсь кого-нибудь забыть.

На прощание даже рассказала анекдот:

– Встречаются два новых русских в Цюрихе на Банхофштрассе. Один показывает другому галстук: “Смотри! Вот в том бутике купил за 2000 франков!” А другой говорит: “Какой же ты осел! Я видел точно такой же вот в том бутике за 3000!”

Она рассмеялась звонким легким смехом. Пинга помахал мне крылом. Или плавником. Мы расстались до утра – назавтра я должен был поехать с ними в Монтрё.

Ночью наш ребенок долго не спал, плакал, у него поднялась температура, моя жена пела ему колыбельную, которую ей пела мама.

Schlaf Chindli, schlaf
De Vater hüetet d Schaaf
D Mueter schütlet s Boimeli
Da falled abe troimeli
Schlaf Chindli, schlaf

В этой песенке сны падают с дерева, если потрясти ветки.

Я тоже никак не мог заснуть. Слушал ее колыбельную и сопение сына. Это были два самых дорогих мне человека. И мне очень нужна была работа, мне очень нужны были деньги для них. Так хотелось, чтобы мой сын тоже когда-нибудь сказал:

– А папа мне все-все покупает, что я захочу!

А денег не было, и я все никак не мог найти настоящую

работу, перебивался только вот такими заработками. И еще я боялся, что моя жена тайком от меня берет деньги у своих родителей. Мне было стыдно.

Ребенок успокоился, жена легла, прижалась ко мне, а я все не мог сомкнуть глаз.

Она сказала:

– Ну, скажи, что? Я же чувствую, что тебя что-то мучает. Любимый, скажи мне! Ведь мы вместе!

Я рассказал ей про Ковалева, про то, как тогда, много лет назад, он был лакеем и я его презирал.

– Если бы мы где-то встретились, я бы руки ему не подал. А тут он приехал, у него куча денег – и я его лакей.

– Ты не лакей. Ты зарабатываешь деньги. Ты делаешь честно свою работу, вот и все. Любую работу можно делать с достоинством.

– Понимаешь, – я попытался ей объяснить, – деньги везде пахнут, но в разных странах у них все-таки разный запах. В Швейцарии деньги себе под мышками мажут дезодорантом. А в России от них идет вонь. От маленьких денег несет потом и нищетой, а от больших…

Она закрыла мне рот рукой:

– Любимый! Я все понимаю. Откажись. Не надо. Черт с ними, с деньгами! А сейчас спи, уже поздно!

Я хотел еще что-то объяснить про Ковалева. Вот откуда у Ковалева столько денег? Вот он приезжает сюда с мешком денег. И мне что-то перепадает. И я честным трудом лакея получаю его вонючие деньги. И должен делать это с достоинством!

Я ничего ей больше не сказал, опять проснулся ребенок и стал плакать.

На следующий день я отправился с моими клиентами в Монтрё.

По дороге Ковалев снова делился своими суждениями:

– Вот понаставили себе радаров на автобане и боятся. Вы же здесь не живете, а боитесь! Трясетесь от страха прокатиться с ветерком. Трясетесь от страха жить!

Или:

– Вот зачем Швейцарии армия? Сколько миллиардов за пару самолетов, чтобы кто-то мог полетать над Альпами в свое удовольствие? С жиру вы тут беситесь!

Или:

– Вот Набоков – гений! А все эти сегодняшние – говно!

Пристрастие моего старого знакомого к Набокову никак не вязалось ни с его комсомольским прошлым, ни с его бизнес-настоящим. Но спросить я не решался. Да и что за дурацкий

вопрос – почему человек восхищается Набоковым?

И все-таки это было странно. Тогда, в молодости, Набокова тайком передавали друг другу. И мы чувствовали себя преследуемой варварами сектой, а его книги – нашим сокровенным богатством. По Набокову тогда проходила граница: свой – чужой. Ковалев был чужим. А теперь он вез меня в Монтрё. Так все странно…

Девочку в машине укачало, и нам пришлось несколько раз остановиться. Ковалев пересел к дочери на заднее сиденье и стал отвлекать ее разными историями. Он придумывал сказки, в них Яночка попадала без конца то в руки бандитов, то к драконам, и ей нужно было с ними сражаться. Сказочная Яночка всегда побеждала. Девочка слушала внимательно, не улыбаясь.

Был февраль, в Москве еще метелило, а в Монтрё уже наступила весна, солнце жгло и с неба, и с зеркального озера, чайки делали жизнь озорной и легкой. На знаменитой набережной тогда еще не было черно от мусульманских бурок – там прогуливались ухоженные старушки в мехах и солнечных очках. Ковалев распахнул пальто и прищурился в сторону Савойских Альп, растущих из Лемана:

– Вот, я все себе так и представлял!

Я должен был без конца фотографировать его с женой и ребенком на каждом углу.

При регистрации в “Монтрё-Паласе” он недоверчиво переспросил у девушки за стойкой, действительно ли ему дали номер, в котором жил Набоков. Утвердительный ответ его не удовлетворил, и он еще раз спросил у бородатого лифт-боя, который катил чемоданы в номер. Тот тоже уверил, что все без обмана. Лифт-бой оказался родом из Сербии. В Югославии совсем недавно лилась кровь, американцы бомбили Белград, и серб, услышав русскую речь, из благодарности к России за ее поддержку отказался брать чаевые – и сразу же получил денег вдвое больше. Ковалев и лифт-бой даже обнялись.

Набоковской комнатой Ковалев оказался разочарован. Я объяснил ему, что после смерти Веры там все перестроили, разделили писательские покои на отдельные номера, но его возмутили скошенные низкие потолки, узенькие окошки и крошечный балкончик.

– Как он мог тут жить?

В комнате на стенах висели старые набоковские фотографии, и Ковалев хотел повторить каждую. По телефону он попросил принести в номер шахматы и устроился с Ириной за столиком на балконе – как Набоков со своей Верой. Я должен был делать много дублей.

Еще Ковалев обязательно хотел сфотографироваться за письменным столом. Впервые я подумал: как хорошо, что Набоков умер.

Когда Ковалев с женой снова вышли на балкон, я открыл заветный ящик – мемориальная клякса, о которой я когда-то читал и дотронуться до которой я столько лет мечтал, была на месте. Я прикоснулся к ней пальцем. Не знаю, что я хотел испытать. Но что-то испытать мне помешала Яночка, она подбежала и заглянула в ящик.

– Что там? Покажи?

– Вот, смотри! – сказал я. – Клякса.

Она удивилась и явно была разочарована.

– Клякса…

Ковалев заявил, что этот номер слишком маленький, и они остановились в другом, огромном.

Меня на два дня поселили в гостинце рядом с вокзалом.

Первым делом в Монтрё мне пришлось заняться поисками пони. Ковалев с женой остались в номере отеля, а мы с Яночкой отправились кататься на пони. Лошадка была грустная и сильно пахла мочой и потом.

Яночка почему-то привязалась ко мне, не хотела расставаться, и Ковалевы пригласили меня на ужин. За столом Ковалев то восторгался красотами Лемана, швейцарской чистотой и порядком, то выражал недовольство: в сауне отеля недостаточно натоплено, у входа нет никакой охраны – заходи всяк кому не лень, а главное – на каждом шагу попадаются русские! Почему-то именно обилие соотечественников раздражало его больше всего.

Меня поразило, что Ирина смотрела на мужа совершенно влюбленными глазами. Такие влюбленные глаза нельзя сыграть.

Загадка Евы Браун. Как могут женщины искренне любить преступников, мерзавцев, пошляков? Кто-нибудь когда-нибудь объяснит?

За десертом Ковалев заявил:

– Как ты можешь тут жить? Тут же тоска! Разве вы тут живете? Вы киснете!

Я ел за его счет и со всем соглашался.

– Тут, на Западе, – излагал он, смачно жуя, – люди жадные от скупости, все откладывают на завтрашний день. А у нас в России люди жадные до жизни. Потому если сейчас от жизни чего-то не возьмешь, завтра уже может ничего не быть!

Он все делал жадно – жадно ел, жадно смеялся, жадно втягивал в ноздри ветер с озера. Даже фотографировался жадно, все ему было мало.

Но больше всего Ковалев любил фотографироваться с дочкой. Похоже, он ее действительно очень любил. Называл Зайкой. Мне это было неприятно, потому что мы так называли нашего сына – Зайка.

Ночью я ворочался в своей кровати в номере привокзальной гостинички. Я не мог заснуть от презрения к самому себе. Неужели я ему завидую? Почему в набоковском номере останавливаюсь не я, а он? Ведь это я люблю Набокова, ведь это меня спасали когда-то его книги. Мне почему-то всегда казалось, что если я дотронусь до той заветной кляксы, я что-то пойму очень важное, что-то сокровенное. И вот теперь дотронулся – и что я понял? Что мне открылось?

Лежал, слушал, как проходят редкие поздние поезда, и в голову опять лезли все те же подлые мысли: ну почему Ковалев может баловать свою жену и дочку, а я должен исполнять роль лакея в богатом семействе, чтобы этот самодовольный тип дал мне денег на подарки моему сыну, моей жене? Кто он? В той рвотной жизни, когда можно было сделать выбор между маленькой подлостью – молчать, и большой – выступать с трибуны, он добровольно выбрал большую. Всегда, в любое время, в любой стране есть прожиточный минимум подлости. Но можно ведь им и ограничиться. Или нельзя, если хочешь чего-то в этой жизни добиться? Вот как, какой подлостью он сделал столько денег? Я вдруг представил себе, что завтра утром скажу ему прямо в лицо все, что о нем думаю, и уеду. И только тогда заснул.

А утром я повез их на экскурсию в Шильонский замок и был приветлив, словоохотлив, предупредителен. Я тогда собирал материалы для моей “Русской Швейцарии”. Наверно, я был неплохим гидом – рассказывал про русскую вековую толкучку в Шильоне, сыпал забавными цитатами.

Я себя ненавидел. Но я знал, ради чего я все это делаю.

В тот вечер у нас случился “вагонный” разговор.

Ирина пошла укладывать дочку, а мы с Ковалевым сидели в баре отеля, и он взял бутылку самого дорогого коньяка. Вряд ли я интересовал его как собеседник, скорее всего, ему просто нужен был свидетель для той небрежности, с которой он заказал бутылку стоимостью в месячную зарплату кассирши в швейцарском супермаркете.

Мы выпили. Коньяк действительно был замечательный.

Помню, что я рассказал про то, как не встретились в “Монтрё-Палас” Набоков с Солженицыным. Забавная история. Они списались, договорились о встрече. Набоков записал в дневнике: “6 октября, 11:0 ˚Солженицын с женой”. Очевидно, Солженицын

ждал ответного подтверждения. Он приехал со своей Натальей в Монтрё, подошел к отелю, но решил ехать дальше, думая, что Набоков болен или по какой-то причине не хочет их видеть. В это время Набоковы просидели целый час в ожидании гостей – был заказан в ресторане ланч – не понимая, почему их нет. Больше они так и не встретились.

Ковалев пожал плечами. Кажется, история вовсе не показалась ему забавной.

Потом мы выпили еще, и он вдруг криво усмехнулся:

– Что-то мне лицо твое сразу знакомым показалось, только никак не мог вспомнить где и что? Мы с тобой нигде не пересекались?

Я уверил его, что нет.

Позвонила Ирина и сказала, что останется в комнате с Яночкой.

Ковалев стал расспрашивать меня про то, как я оказался в Швейцарии, про мою жену-швейцарку.

– Не скучно тебе среди этих цветочков и шоколада?

Он пил быстрее меня и больше и быстро хмелел. Ни с того ни с сего принялся рассказывать, какая у него первая жена была стерва и как он счастлив был, когда с ней развелся:

– Вышел из здания суда – и чувствую, что лечу! Зарекся – никогда больше не женюсь. Пять лет держался. А тут Иринка! Иринку мою люблю, как сумасшедший! Да и как такую не любить! Ты ее фигуру видел, скажи, видел?

У него была отвратительная манера хлопать собеседника то по колену, то по плечу.

– А Яночку мою так люблю, что все ради нее сделаю! Веришь?

Я все время кивал. Ему этого было достаточно.

Мы сидели долго, во всяком случае одной бутылки не хватило, и он стал заказывать себе еще рюмочки.

Ковалев рассказывал что-то невнятное про свой бизнес, про мерзавцев, с которыми ему приходится иметь дело, про то, как ему противно заниматься всей этой грязью, и что делает он это только из-за Ирины и Яночки.

– Понимаешь, – кричал он так, что все в баре на нас оборачивались, – у меня дороже моей Яночки ничего на свете нет! Я за нее любого убью! Пусть только кто ее пальцем тронет! Я для нее все буду делать! Сам мерзавцем стану! Говно буду жрать! Но это ради нее, понимаешь, ради моей Зайки!

Еще доверительно на ухо сообщил, что обеспечил жене и дочке будущее в Швейцарии, если что-то с ним произойдет.

– Мало ли что, – объяснял он. – Всякое ведь может случиться. А я все так сделал, что Яночка тут вырастет. У вас. Среди

цветочков и шоколада. Все обеспечено!

Совсем пьяным он стал признаваться, что его хотят убить.

– Понимаешь, меня заказали! И я это знаю! И знаю кто!

Кажется, он уже не очень понимал, где находится и с кем говорит, только пьяно рычал:

– А я им так просто не дамся! Зубами буду за жизнь хвататься, понял? Зубами!

Мы вышли с ним из бара на улицу проветриться и спустились к озеру.

Стояли на набережной, гор не было видно в тумане, и казалось, что мы стоим на берегу моря.

Ковалев орал на весь ночной Леман:

– Заказали?! Кого? Меня?! Да я сам кого хочешь закажу!

Он даже порывался искупаться. Я пытался его урезонить, мол, искупаться в Лемане и завтра можно.

Ковалев ревел в ответ:

– Да может, твоего Лемана завтра уже не будет!

Я усмехнулся:

– Да куда ж он денется?

Он махнул на меня рукой:

– Ни хрена ты не понимаешь! – и побрел нетвердыми шагами к отелю.

А я еще какое-то время ходил по набережной. Я чувствовал, что пьян, что разговариваю сам с собой. Редкие поздние прохожие на меня оборачивались. Я говорил себе:

– А если с тобой что-то случится? Вот он обеспечил свою жену и ребенка, а ты – нет. Ты его презираешь, а чем ты лучше его?

И вдруг я очень остро почувствовал, что завтра озера может не быть.

Мы прощались на следующий день утром, я пришел в “Монтрё-Палас” после завтрака. Ковалев выглядел помятым, с красными мутными глазами. Посмотрел на меня тяжелым неприятным взглядом.

– Я, может, вчера сболтнул что-то лишнее – забудь! Ясно?

Я кивнул.

Чаевые, которые я получил от Ковалева, были королевскими. В хорошем кино я должен был бы оставить деньги ему на столе и гордо уйти. Но мы были не в кино.

С Ириной мы попрощались почти по-дружески, а Яночка просто повисла на мне и не хотела отпускать.

Больше мы не виделись.

На день рождения моя жена разворачивала коробки с подарками, и мне было очень нужно слышать ее счастливый смех

и видеть, как улыбается в кроватке наш сын.

Важно ведь лишь то, что у тебя есть самые дорогие люди на свете, а все остальное не имеет никакого значения.

Пару месяцев спустя я, как обычно, утром сел за компьютер и в новостях наткнулся на знакомую фамилию. Сообщалось, что одного из руководителей известного банка Ковалева застрелили на улице прямо у его дома. Обычные московские новости того времени. Проверил, выскочила фотография со знакомым лицом.

Запомнилось, что киллер поджидал у подъезда и еще сделал контрольный выстрел в голову – это увидели соседи в окно.

Не знаю, что стало с его женой и дочкой. Столько лет прошло. Яночка теперь, должно быть, уже совсем большая. Интересно, что с ней сейчас? Кем стала? Как сложилась ее жизнь после гибели отца? Ведь она выросла где-то здесь, в Швейцарии.

А вдруг, Яночка, ты сейчас читаешь эти строчки? Чего ведь только в жизни не бывает…

Интересно, что у тебя осталось в памяти от той нашей поездки? Может, вообще стерлось все, кроме пони? Как там Пинга? Его, наверно, давным-давно нет на свете.

И что ты помнишь об отце?

Он бы тебе сам потом рассказал про наш институт и про все остальное. И почему его заказали. Или не рассказал бы.

Ты знаешь, важно лишь то, что был человек, для которого ты являлась самым дорогим существом на свете. Все остальное не имеет никакого значения.

А еще скажи, ты помнишь ту кляксу?

2012

Кастрюля и звездопад

Всю зиму я мечтал, как проведу лето в Валлисе и буду каждый день шастать по горам. Склонившись над картой, планировал разные маршруты, чтобы рано утром уходить в горы на целый день и возвращаться вечером – усталым и счастливым.

А потом пришло лето, и я загремел в больницу. Двусторонняя грыжа. После операции не обошлось без осложнения – воспаление, температура, антибиотики. Как только сняли швы, приехал в Бренчен. Но о всех моих чудесных планах пришлось забыть. Никаких многочасовых прогулок по горам. Первые дни выползал только, чтобы посидеть за столом на лужайке перед шале. Смотрел на Вайсхорн.

Эти горы вокруг были описаны уже столько раз, что казались цитатами, которые вдруг прорывались из облаков.

Ко мне обещал приехать на пару дней мой сын, и вот я наблюдал, как долина Роны в сумерках меняла цвет, будто натягивала сиреневый чулок, и так хотелось смотреть на это не одному, а вместе с ним.

Но ему все было некогда.

А я ждал его и стал уже понемногу гулять, уходил с каждым днем все дальше от деревни – по дорожке в сторону Лейкербада, и каждый раз представлял себе, как мы пойдем тут с ним вместе. Я плелся не торопясь, часто останавливаясь. Швы нестерпимо чесались и хотелось сковырнуть пластырь и разодрать ногтями шрамы.

Потом я получил от сына мейл, в котором он сообщал, что уже едет ко мне. И в конце своего короткого послания он задавал загадку: представь себе такую кастрюлю, в которою может поместиться все, что угодно, – и курица, и целый бык, и дом, и весь земной шар, и вся вселенная. Что все-таки никак не сможет поместиться в этой кастрюле?

Сейчас объясню, в чем тут дело. С его мамой мы разошлись, когда ему было семь. И я стал приходящим отцом. А потом и прилетающим. И наверно, так было лучше для всех и для него в первую очередь. Когда мы с его мамой ругались, унизительно и глупо – с битьем посуды и хлопаньем дверями, – он не плакал, а сжав кулачки бросался то на нее, то на меня. И так жить было нельзя. И очень хорошо для нас, и сына, и меня, что я ушел из дома. Потому что, если бы мы продолжали жить вместе, то я бы только кричал на него: поставь ботинки на место! Или: делай уроки! Или: отстань, не мешай, разве ты не видишь, что я пишу! А так в наши встречи я был только с ним, только для него одного, и

никогда не сказал: отстань, ты мне мешаешь! Ни одного раза. Уже только из-за этого стоило тогда уйти из дома.

А когда мы не виделись, то писали друг другу письма. Про все на свете. Я придумывал для него разные шарады, кроссворды, загадки. И он тоже задавал в каждом письме каверзные вопросы, вроде: если пар легче воды, то почему лед не тяжелее воды, а легче?

И вот сейчас он уже вырос, но тот мейл тоже закончил такой загадкой.

В его возрасте я уже давно все про себя знал. Я знал, что хочу в этой жизни: писать книги и путешествовать. И я знал, что все это невозможно. Потому что родился в такой стране, в которой то, что напишу, никогда не будет опубликовано, и меня никогда не выпустят за границу путешествовать. Это была страна рабов, и мои родители были рабами и родили еще одного раба. Тот шестнадцатилетний юноша знал, что именно хочет, но все это было невозможно – и он чувствовал себя несчастным.

А моему сыну все открыто: он уже объездил полмира, он пишет, снимает кино, устраивает концерты, на которых выступает со своей музыкой. Но он до сих пор не знает, что же он по-настоящему хочет в этой жизни. И от этого он тоже чувствует себя несчастным.

Наверно, счастье не зависит ни от рабства, ни от свободы.

И вот я не спеша шагал по тропке в сторону Лейкербада, кругом остро пахло теплым солнечным лесом, сосновой смолой и земляникой, и думал о том, что же все-таки не может влезть в кастрюлю, в которую поместится и млечный путь, и все галактики, и все мироздание с самого начала до самого конца?

И тут я встретил моего отца. Он шел мне навстречу с рюкзаком за плечами, в крепких горных ботинках, загорелый, здоровый, молодой. Это был мой отец, но он был не таким, каким я знал его перед смертью, – седым, спившимся, скрюченным, а таким, как я помнил его из детства. Я остановился, пораженный, а он шагал ко мне легко и бодро, как шагает уставший путник после целого дня, проведенного на горных тропках, подходя, наконец, к месту завершения долгой и прекрасной прогулки.

Поравнявшись со мной, он улыбнулся и сказал:

– *Grüezi!*

И я ответил ему:

– *Grüezi!*

И он зашагал дальше к Бренчену.

То, что мой отец заговорил со мной по-швейцарски, вернуло меня к реальности. Разумеется, этот молодой человек, которого я намного старше, никак не мог быть моим отцом, сгоревшим в

московском крематории в своей форме моряка столько лет назад.

Мой отец во время войны был подводником на Балтийском море, и у нас на стене висела фотография его “Щуки”. В детстве я страшно гордился, что у моего папы была подводная лодка, и все время срисовывал ее с фотографии в школьную тетрадь, и выводил на носу номер: Щ-310. Каждый год на День победы 9 мая отец доставал из шкафа свою матросскую форму, которую все время перешивал из-за растущего с годами живота, и надевал все свои награды. Потом я вырос и понял, что в 44-м и в 45-м году отец топил немецкие корабли, которые эвакуировали беженцев из Риги и Таллина. Сотни, если не тысячи людей нашли свою гибель в водах Балтики – за это отец получил свои ордена. Я давно не горжусь им, но и не осуждаю. Была война, и мой отец в той войне победил. Он мстил за брата.

Отец ушел добровольцем на войну в восемнадцать лет – мстить за Бориса, он так мне говорил. Его старший брат погиб летом 41-го.

В детстве я каждое лето проводил у бабушки, в дачном поселке Удельная под Москвой. На стене в комнате висели старые фотографии. На одной ее сыновья – два подростка, два брата сидели обнявшись, голова к голове, касаясь друг друга лопоухими ушами. Теперь на фотках все всегда улыбаются, а они смотрели в объектив серьезно, будто знали все, что с ними скоро произойдет. На другой фотографии застыл юноша с наушниками – Борис был радиолюбителем, учился на телефониста.

Помню, как бабушка разворачивала стертый листок “Извещения”, целовала и утирала слезы. Ему было двадцать лет. Сейчас это просто невозможно себе представить, когда смотрю на моего сына. Мальчишка ведь, ребенок еще совсем. А тогда, в детстве, Борис мне казался большим взрослым героем.

Мой дед, тоже Михаил, был тамбовским крестьянином. Вернее, конечно, это я – тоже. Его арестовали во время коллективизации в тридцатом году. Бабушка рассказывала, как к ним на двор пришли забирать корову, он стал возмущаться, что ему нечем будет кормить двух маленьких детей. Его арестовали как “подкулачника” и отправили в Сибирь на строительство Байкало-Амурской магистрали. С БАМа он каким-то образом передал два коротких письма и потом там сгинул. Бабушке, когда умирала, уже было 95. Помню, я ей звонил, и она сначала говорила со мной нормально, а потом вдруг начинала спрашивать: “Это кто? Миша? Какой Миша?” Я ей говорил: “Это я, Миша!” Бабушка начинала кричать в трубку: “Что вы делаете! Оставьте его! Не надо его забирать! Отпустите его! Миша, куда они тебя ведут?” Это она снова оказывалась в том году, и ее

Мишу снова арестовывали. Чтобы не умереть с голоду, бабушке тогда пришлось бежать из деревни с двумя детьми, моим отцом и дядей Борей. Под Москвой она устроилась работать уборщицей и всю жизнь потом проработала нянечкой в детском саду.

А отец во всех анкетах скрывал, что он сын врага народа и боялся, что это откроется. Сыну ведь так важно гордиться своим отцом. А у моего отца вместо гордости всю жизнь в душе жил страх.

Та истертая на краях пожелтевшая бумажка, которую целовала бабушка и над которой она плакала, была на самом деле не похоронка, а извещение о том, что Борис пропал без вести где-то в районе Кандалакши. Это городок в Карелии. Я теперь представляю себе, что она всегда надеялась, что он не погиб, что где-то живет. Ведь что такое “пропал без вести”? Что угодно. Она ведь думала: а вдруг он жив, а вдруг они когда-то встретятся? И отец тоже надеялся, что брат жив.

Бабушка умерла в 93-м, отец в 95-м. И вдруг в 2010-м со мной произошло то, что обычно в жизни не происходит, это может случиться в каком-то кино или в книге. Я оказался в Норвегии, там вышел перевод моего романа “Венерин волос”, и меня пригласили в поездку по нескольким городам с выступлениями. И вот с моей норвежской переводчицей Марит Бьеркенг мы гуляли по Тромсе, это городок на севере Норвегии, и зашли в местный небольшой музей. Там была выставка о русских военнопленных в Норвегии во время войны. В район Тромсе немцы эвакуировали при отступлении свои лагеря из Финляндии. Вспомнилось вдруг странное слово из детства – Кандалакша. Это ведь то место, откуда пришло извещение! Это где-то в Карелии. И я подумал: а вдруг мой дядя Боря попал там в плен, а потом, в 44-м, оказался с лагерем в Норвегии? Марит помогла мне сделать запрос в норвежские архивы. Копию регистрационной карточки военнопленного Бориса Шишкина нашли сразу и прислали мне по мейлу.

Персональная карточка военнопленного. Заведена 29 августа 41-го. *Stalag* 309. Этим номером обозначалась сеть лагерей в Финляндии. Каждому военнопленному давали железную бирку, его номер 1249. Шишкин Борис. Родился 30 декабря 1920 года в селе Ново-Юрьево. Национальность: русский. Рядовой, номер части, гражданская профессия: радиомеханик. Взят в плен 27 августа. Здоров. Отпечаток его пальца. Фамилия и адрес родственников на родине военнопленного. Мать Любовь Шишкина – это моя бабушка.

Читал это и остро ощутил, что такое воскрешение из мертвых. Этот человек, мой двадцатилетний дядя, этот мальчик

вдруг ожил! И так больно стало, что ни моя бабушка, ни мой отец не дожили до этого дня.

Я сразу полез в Интернет, а там все есть – и про этот *Stammlager* 309. Есть фотографии, есть исследования, документы. Есть истории людей, которые были там и выжили. Даже есть фотографии расстрелов, которые один немецкий солдат тайком снимал. Военнопленные в основном занимались строительством – строили железную дорогу. Прочитал про военнопленных телефонистов – и понял: конечно, это был он! Его наверняка взяли работать там по профессии!

А на обратной стороне карточки запись: "*Es besteht die Vermutung, dass der Kriegsgefangene Jude ist, laut Aussagen eines Vertrauten Mannes. Wurde am 25.7.1942 der Sicherheitspolizei übergeben"*. "Есть предположение, что военнопленный является евреем, согласно показаниям осведомителя. 25 июля 1942 года его передали в гестапо". Это значит, что его расстреляли.

В Интернете в исследованиях о лагере 309 нашел фотографии расстрелянных в большой воронке. Может быть, один из них – брат моего отца.

Как передать это ощущение: вот мой дядя Боря только что воскрес – и его опять убили. Помню, я подумал: как на самом деле хорошо, что отец и бабушка ничего этого не увидели!

Его убили как еврея. Тамбовские крестьяне из поколения в поколение. Очевидно, кто-то сводил с ним счеты, и по любому доносу человека могли расстрелять.

Я стал разыскивать ту фотографию из детства. Наш семейный архив сгорел лет десять назад, когда сгорел дом брата под Москвой. Стал связываться с последней женой отца, Зинаидой Васильевной, у нее после всех переездов тоже ничего не оказалось. Удивительно, вижу перед глазами ту довоенную карточку с юношей в наушниках, а ее уже нигде больше нет – только во мне.

Все документы, фотографии, то, что должно храниться в семье из поколения в поколение, всё исчезло. А вот в остатках той машины смерти до сих пор все хранится. Как так получается?

Еще меня удивило, что на карточке чьей-то рукой сделан перевод на русский. Кто все это перевел? Зачем? Когда? И штамп стоит: "В персональной учетной карточке изменения внесены. Исходный номер 452. 1941 год". И от руки приписано: "Извещено". То есть послана матери Бориса, моей бабушке, та самая бумажка, над которой она столько лет плакала.

Оказалось, что все эти архивы после войны были переведены в Россию и хранятся они до сих пор в Подольске под Москвой. И бабушка, и отец столько лет жили, ничего не зная о судьбе их

Бориса, а собственная страна, ради которой Борис и погиб, – скрывала от них все. Только после перестройки на короткое время их открыли, и западные историки сделали копии. Из норвежского архива я получил карточку моего дяди Бори за неделю, а от собственного государства бабушка и отец не получили о нем ничего за всю жизнь.

Когда началась перестройка, отец сделал запрос в КГБ о судьбе своего отца. Он показал мне официальное письмо с реабилитацией его отца, моего деда. Дело закрывалось “за отсутствием состава преступления”. Отец в тот день с утра напился и только мычал:

– Сволочи! Сволочи!

После войны он всю жизнь пил. Да и все его друзья-подводники. Наверно, они не могли иначе. Ему было восемнадцать, когда он месяцами плавал в своем железном гробу, “Щуке”, которую я так любил рисовать.

Во время Горбачева, когда начались совсем голодные времена, отец как ветеран войны получал пайки, и там были продукты из Германии. Он это воспринимал как личное унижение. Всю жизнь он ощущал себя победителем, а теперь вынужден был кормиться подачками от побежденного врага.

Отец опустился, пропивал вещи жены.

Так важно гордиться своим отцом. А я его стыдился.

Последней каплей в нашем отчуждении стало то, что он устроил на моей свадьбе. Помню, когда я пригласил его, это был с моей стороны жест примирения. Отец моментально напился, устроил драку, мне с другом пришлось его скручивать, отвозить на такси домой. Мне было трудно простить ему такие вещи.

Я снова стал общаться с ним только незадолго до его смерти. Последние годы он просто уничтожал себя водкой. Если ему не давали выпить, начинал разбивать все в доме. Зинаида Васильевна перестала за него бороться – сама покупала бутылку, чтобы он поскорее выпил и свалился. Он столько пил, что было странно, как его организм еще держится. Все друзья-подводники допились до могилы уже давным-давно. Наверно, отец торопился к своим боевым друзьям. С их подлодки он оставался в живых последним.

На поминках Зинаида Васильевна рассказала, как умер отец:

– Упал с кровати и кричит: Зина! Зина, я ничего не вижу! Включи свет! Свет! Больше света!

А она ему:

– Да светло, же, Паша, солнце за окном!

Было странно, что мой спившийся ветеран-подводник кричал перед смертью то же, что Гёте.

Его похороны я описал во “Взятии Измаила”. Ничего не придумал.

Отец всегда, сколько я помню, говорил, чтобы, когда умрет, тело положили в гроб в его матросской форме. И в морге нам вывезли в открытом гробу седого морячка. В последнее время у него тряслось все тело, и теперь у отца был какой-то умиротворенный вид со сложенными руками на груди, будто успокоился, что сгорит не так просто, а в своей тельняшке.

Гроб оказался коротким, и голова не помещалась, утыкалась в стенку, от этого подбородок упирался в грудь, и у отца было странное живое выражение на лице, немного обиженное, мол, и в гроб-то не могут по-человечески положить.

На автобусе поехали в крематорий в Митино. Гроб прикрыли крышкой с уже вбитыми гвоздями. Я это заметил не сразу, только когда увидел, что крышка не ложится плотно, что-то мешает. Гвоздь уткнулся отцу прямо в темя. В седые волосы из разорванной кожи вылилась кровь.

В автобусе я вспомнил, как в детстве мы с отцом каждый год ездили на велосипедах в августе перед школой в наш Ильинский лес. Отец то и дело уезжал вперед на своем тяжелом трофейном, а я кричал:

– Папка, подожди! – и пытался догнать его на моем “Орленке”.

В крематории, когда нужно было накрыть гроб крышкой, я, как мог, отогнул гвоздь вбок, чтобы отцу не было больно.

Мой сын позвонил уже вечером, из поезда, когда делал пересадку в Бриге, и я спустился на моем старом “гольфе” встретить его на вокзале в Лейке.

Сын вышел из вагона с небольшим рюкзаком – так он путешествует по миру. Обнялись. Каждый раз, когда теперь вижу его, поражаюсь, каким он стал взрослым – уже на целую голову выше меня.

По дороге я задавал ему глупые бестолковые вопросы про учебу, про университет, про соседей по *WG, Wohngemeinschaft* – так называется у них добровольная коммуналка. Он учится в Вене.

Сын рассказывал про своих смешных профессоров, а я слушал и завидовал.

Пока он был в душе и разбирал вещи, я приготовил ужин. Поджарил картошку с луком и колбасками. Сын крикнул из своей комнаты:

– Как вкусно пахнет!

Мы ели за столом у окна и смотрели на Вайсхорн.

Я сказал, что встретил на горной тропинке человека, похожего на моего отца.

– Расскажи что-нибудь о нем! Что тебе запомнилось из твоего детства?

Я стал рассказывать о том, что осталось в памяти. Например, когда напивался, он всегда пел “Мишка, Мишка, где твоя улыбка”, и, заграбастав своими ручищами меня, дошкольника, в охапку, заставлял тоже петь, а я вырывался, от него пьяного противно пахло.

И как ездили кататься на велосипедах в Ильинский лес. И еще какие-то мелочи. Вспомнил про фокус, который мне показал когда-то мой бывший подводник. Как сейчас вижу: мы идем в воскресенье стричься, я хнычу, потому что боюсь машинки и ненавижу парикмахерскую, он тащит меня за руку, а потом говорит – смотри, фокус! И произошло чудо – отец вдруг стал великаном и протянул мне на ладони трамвай с остановки.

Сын засмеялся и сказал, что я ведь ему тоже показывал в детстве этот фокус! Только на ладони был не трамвай, а высотка на площади Восстания.

И мы стали с ним вспоминать что-то уже из его детства. Как поехали однажды встречать его маму на Ярославский, а там было так много народа, что мы боялись потеряться, и тогда я посадил его на плечи, и он увидел ее и закричал на весь вокзал:

– Мама! Мама! Мы здесь! – и страшно гордился потом, потому что ему казалось, что если бы он тогда не видел маму в толпе с высоты моих плеч, мы бы навсегда потерялись.

И еще сын спросил:

– Скажи, а с твоим отцом какое у тебя осталось самое счастливое воспоминание из детства?

Я подумал про сеновал. Отец родился в деревне и всю жизнь жил неправильно, в городе, просиживал годы в какой-то конторе, а ему хотелось быть крестьянином, работать на своей земле, которую у них отняли. Летом на даче он любил сажать, косить, копать. Он всегда мечтал спать не в доме, а на улице, на сеновале. И вот однажды откуда-то привез целую копну сена и устроил себе постель прямо под открытым небом. Мне было лет семь или восемь, и я упросил бабушку разрешить мне спать с ним. Было так восхитительно лежать на колкой постели, нюхать оглушительно благоухающее сено и прижиматься к плечу отца! Это был август и падали звезды. И вот мы лежали на сеновале и смотрели, как время от времени чиркало по небу.

Мы с сыном сидели так, пока совсем не стемнело, над Валлисом вызвездило. И он вдруг сказал:

– Пошли!

На улице уже было свежо, мы закутались в одеяла и уселись в раскладные кресла на лужайке перед шале. В долине мерцали огоньки, на западе над долиной Роны еще чуть светлело, а над головой низко провис Млечный путь. Было непривычно тихо, даже ветер замолчал. Только мы и звезды. Но ни одна не хотела падать.

Сидеть, задрав головы, было неудобно, и мы улеглись на широкий крепкий стол. Голова к голове. Говорили обо всем на свете. Еще вспоминали что-то про детство. А потом сын рассказывал мне про свою девушку. Как он ее любит. А она его уже нет.

Потом стало совсем холодно, а мы все не хотели идти в тепло, потому что так и не увидели еще ни одной падающей звезды.

Наконец, пошли в дом укладываться, было уже совсем поздно.

Перед сном я заглянул к нему пожелать спокойной ночи.

– Папа, ты знаешь, если когда-нибудь у меня будет сын и он попросит вспомнить какие-нибудь счастливые моменты с моим отцом – я обязательно вспомню сегодняшнюю ночь, как мы лежали на столе под ночным небом и смотрели на падающие звезды.

– Так ведь ни одна не упала.

– Какая разница!

Мы помолчали. И я сказал:

– Поздно уже. Спокойной ночи! Спи! Завтра еще наговоримся.

И тут мне пришло в голову, что весь день хотел спросить его и совсем забыл:

– Да, скажи, а что такое не может поместиться в кастрюлю, в которую может поместиться всё?

Он рассмеялся:

– Папа, ну ты что? Это же так просто! Крышка от такой кастрюли!

Крышка!

Конечно же! Как я сразу не догадался!

2012

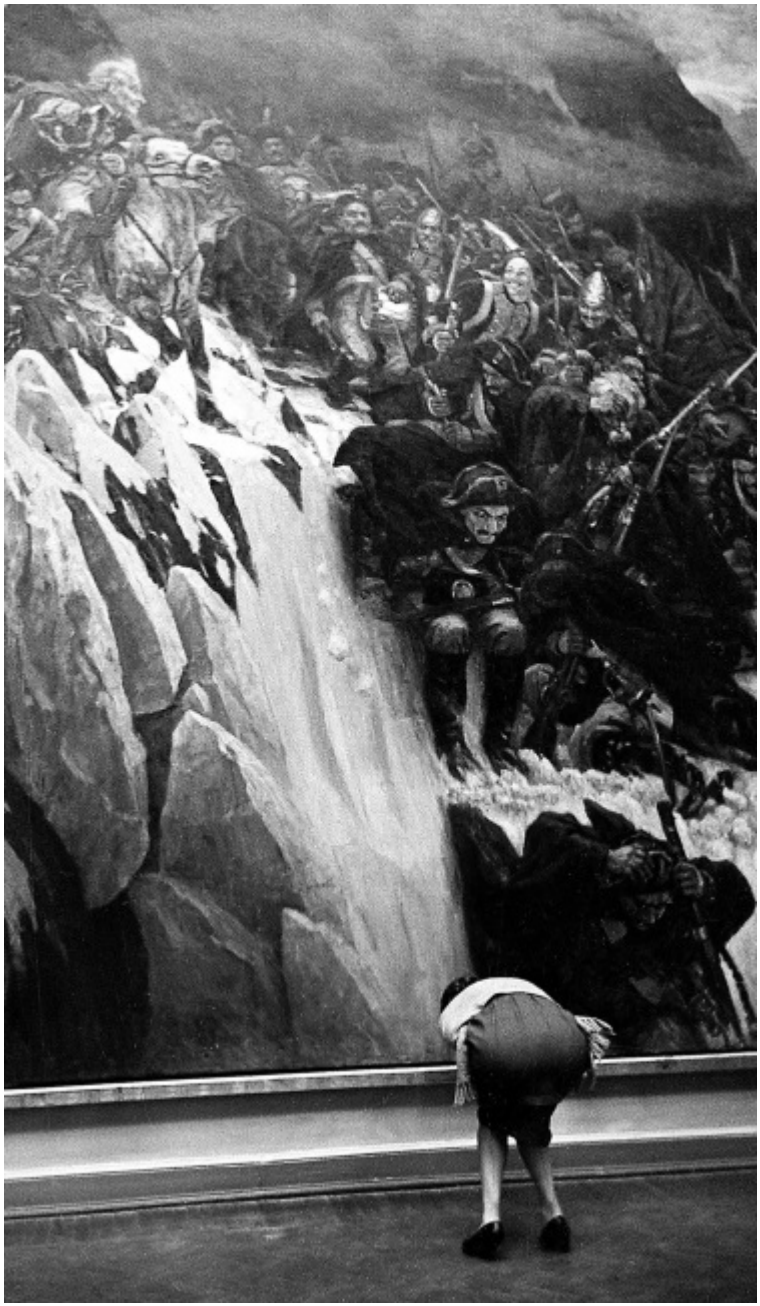
Иллюстрации

Полицейская фотография Роберта Вальзера. “На белом снежном поле его тело напоминало букву какого-то нездешнего алфавита на пустом листе бумаги. Он сам стал своей последней буквой”.

© Robert Walser-Stiftung Bern / Keystone.

Школа в Староконюшенном и Посольство Канады напротив нее.

3. Улыбка Бобби Кларка.
© John D.Hanlon / Sports Illustrated / Getty Images.



Картина В. Сурикова “Переход Суворова через Альпы”. Фото Ю. Транквилицкого.

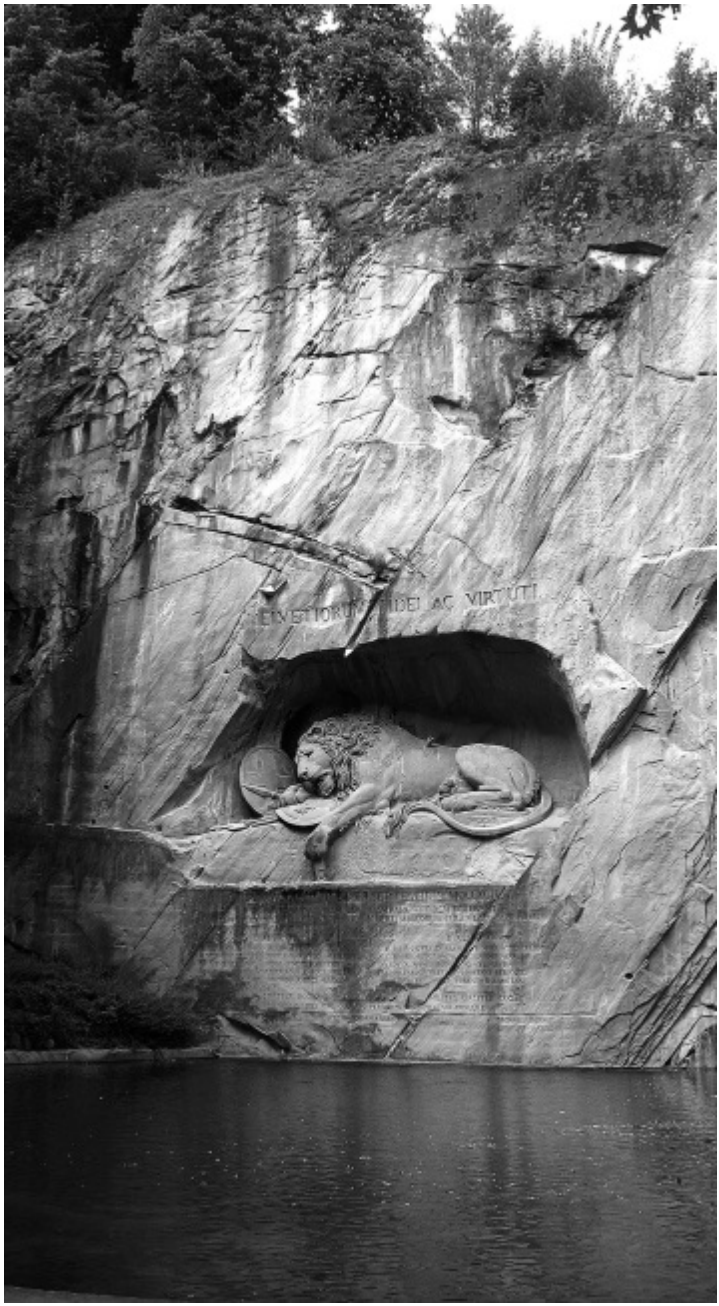
Памятник Александру Суворову 1898 года у Чертова моста.

Памятник Александру Суворову 1999 года на перевале Сен-Готард.

Луг Рютли, главная швейцарская святыня.
И трава, и коровы настоящие.

Героическое деяние Вильгельма Телля.

Памятник Вильгельму Теллю в Альтдорфе.



Раненый лев в Люцерне.

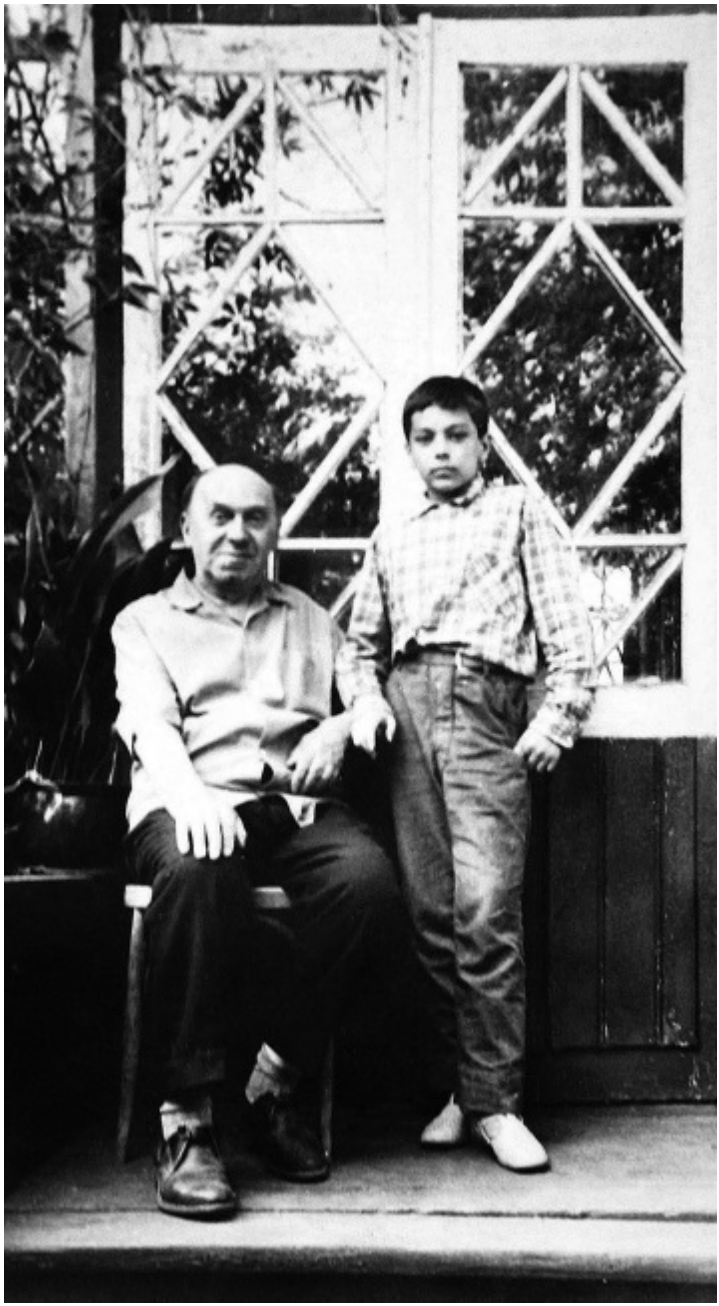
Тюрьма в Аффольтерн-ам-Альбисе снаружи и внутри.

Миша Шишкин с бабушкой в Удельной. В руках – флажок Кубы.

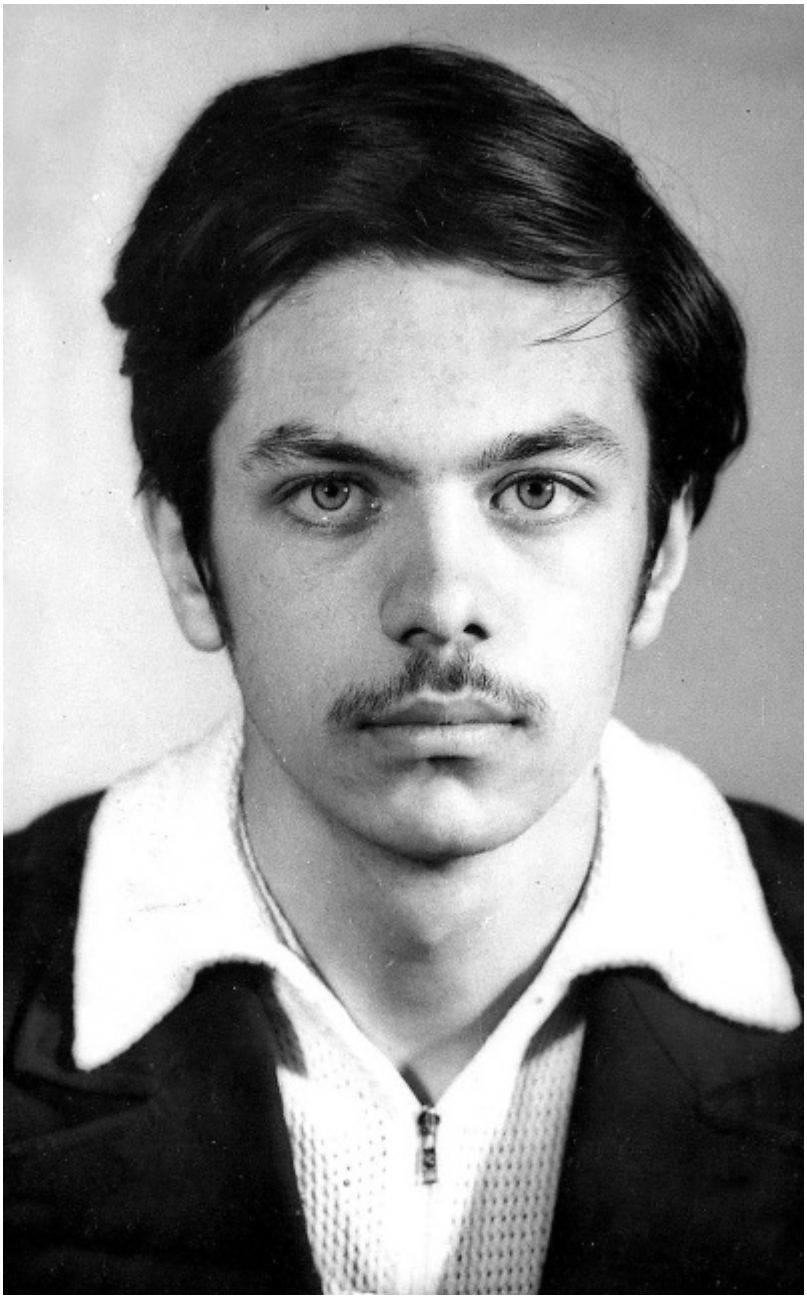
Пальто с хлястиком.

С мамой и братом.

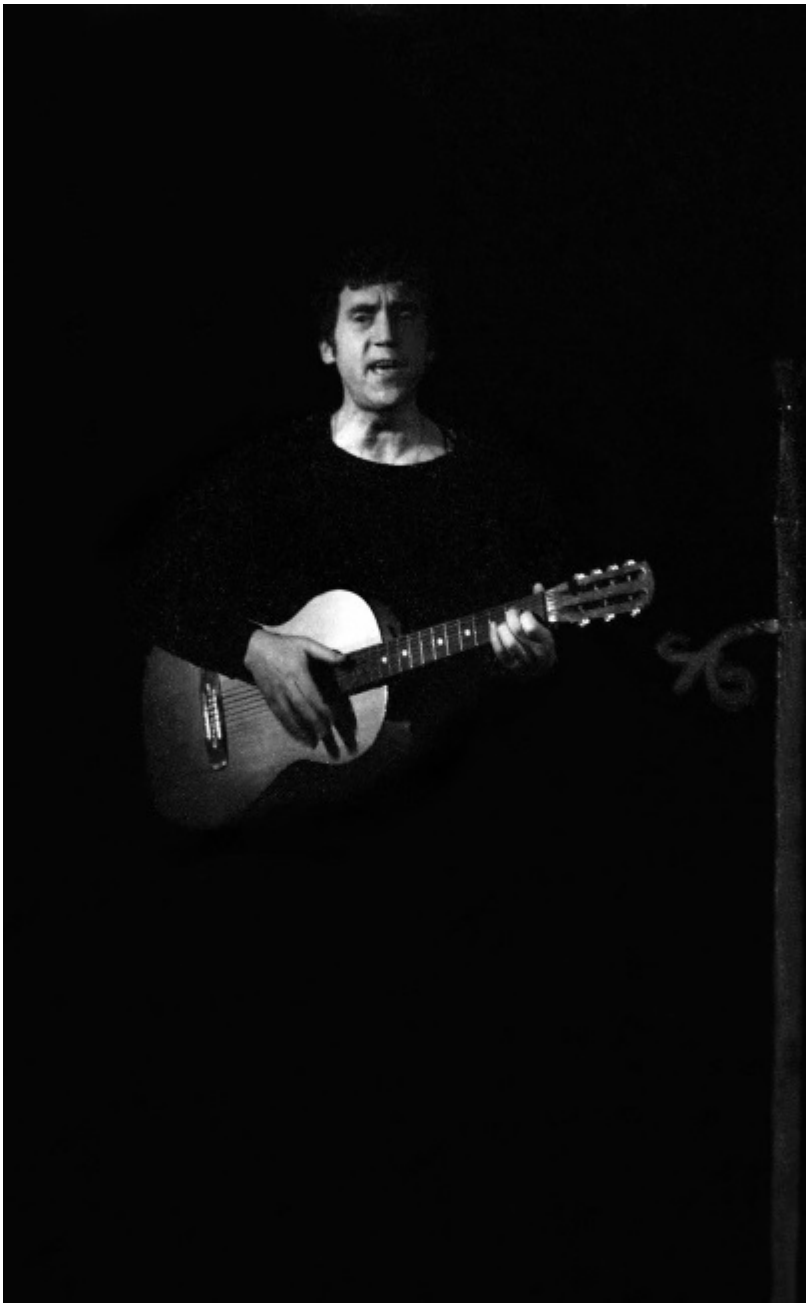
Мама из того времени, когда она вела дневник.



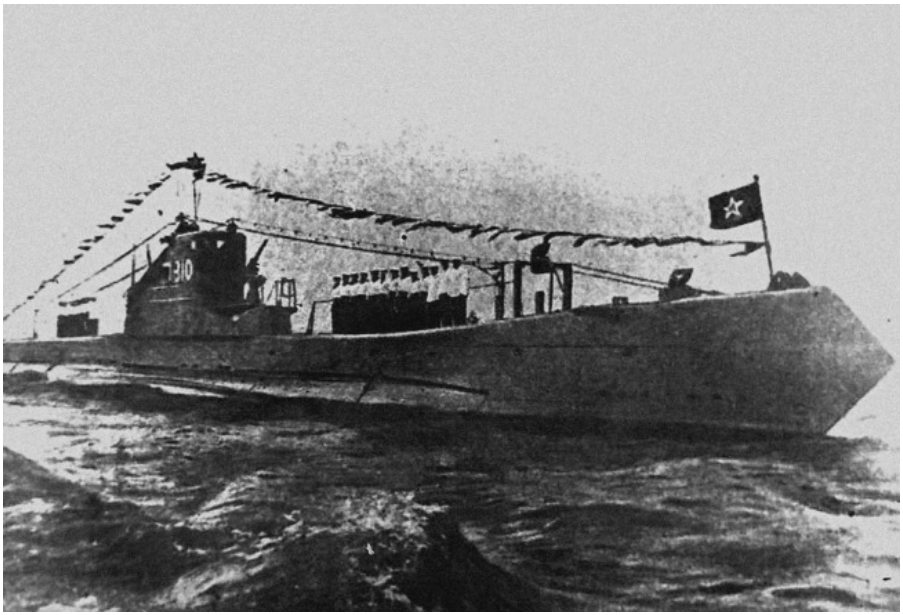
В Удельной с дедушкой.



В шестнадцать лет.



Высоцкий – Гамлет. Фото А. Стернина.



Фотография отцовской “Щуки”: подлодки Щ-310.

Награжден орденом "Красной Звезды"
Приказ командира БПК КБФ №-10/н от 26.05.45 г.

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

К/Отделения СКС. Краснознаменной Пл "Щ-310" 8-го дПл.КБФ.
(должность, наименование войсковой части, соединения, учреждения или заведения)

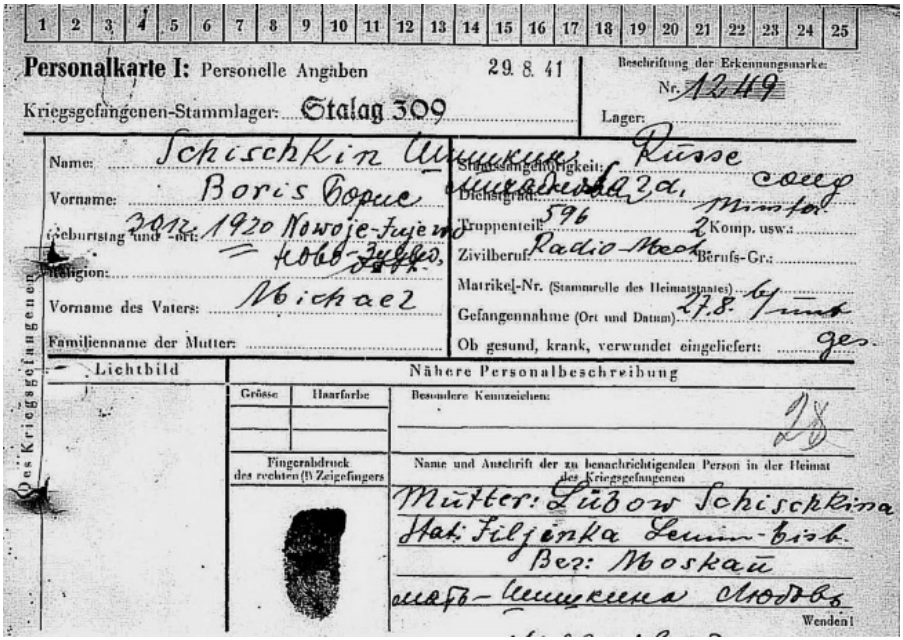
Краснофлотец ШИШКИН, Павел Михайлович.
(военное звание, фамилия, имя и отчество)

Орден " КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ".
(наименование награды)

1. Год рождения 1926 2. Национальность Русский
3. Соцположение Рабочий 4. Партийность ВЛКСМ
5. С какого года в РККА или РКВМФ с 1942 года.
6. Участие в гражданской войне Не участвовал.
7. Ранения и контузии Не имеет.
8. Представлялся ли ранее к награде, когда и за что за отличное выполнение боевых заданий Командования в боевых походах Пл в 44-45 гг.
9. Какие имеет поощрения и награды и за что Орден "Красной Звезды" в 1945 г. Медаль "Нахимова" в 1944 г.
10. Служба в белой или других буржуазных армиях и пребывание в плену Не служил и не был.
11. Постоянный адрес [redacted]

ДЛЯ ПОДШИВКИ

С отцом.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Personalkarte I: Personelle Angaben 29. 8. 41

Beschriftung der Erkennungsmarke: Nr. 12 469

Kriegsgefangenen-Stammlager: Stalag 309 Lager:

Name: Schischkin Шишкин Staatsangehörigkeit: Russe

Vorname: Boris Борис Dienstgrad: солд

Geburtstag und -ort: 3.01.1920 Nowoje-Fujewo Truppenteil: 596 2 Komp. usw.: Minsk

Religion: Zivilberuf: Radio-Mech Berufs-Gr.:

Vorname des Vaters: Michael Matrikel-Nr. (Stammrolle des Heimatstaates) 6

Familienname der Mutter: Gefangennahme (Ort und Datum) 27.8. Smol

Ob gesund, krank, verwundet eingeliefert: ges.

Das Kriegsgefangenen-Lichtbild

Nähere Personalbeschreibung

Grösse	Haarfarbe	Besondere Kennzeichen:
		28

Fingerabdruck des rechten (!) Zeigefingers

Name und Anschrift der zu benachrichtigenden Person in der Heimat des Kriegsgefangenen

Mutter: Lubow Schischkina

Hat: Filjonka Lenin-bisb.

Bez: Moskau

мать-Шишкина Любовь

Wenden!

Копия личной карточки военнопленного Бориса Шишкина, полученная из Норвегии.

Вверху: офицеры Красной армии в форме, выданной американцами. Лагерь Адельфинген.

Внизу: в лагере-госпитале Обер-Бюрен.

Вверху: генерал-майор Вихорев и старший лейтенант Новиков инспектируют лазарет в Обер-Бюрене в поисках симулянтов.

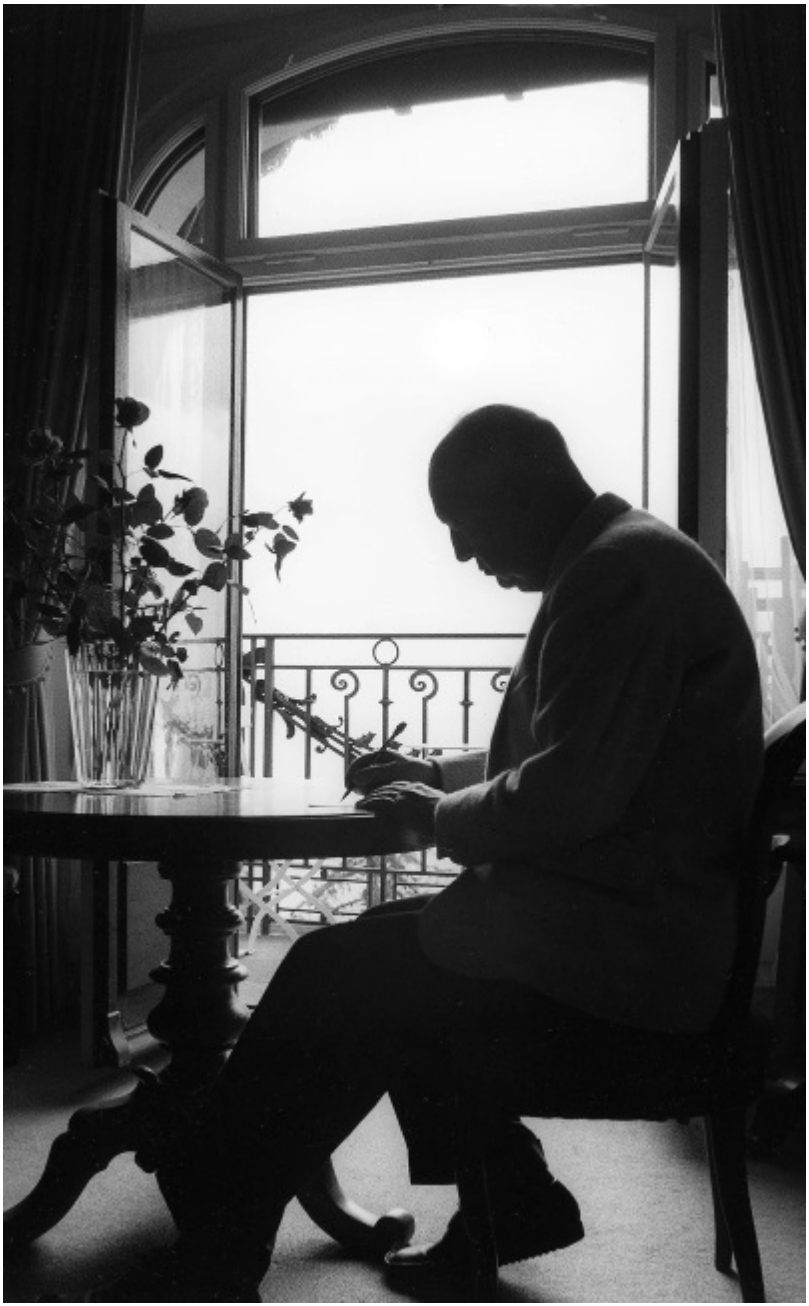
Внизу: отправка поезда с интернированными в СССР, пограничная станция “Санкт-Маргретен”.

Фриц Брупбахер и Лидия Кочеткова.

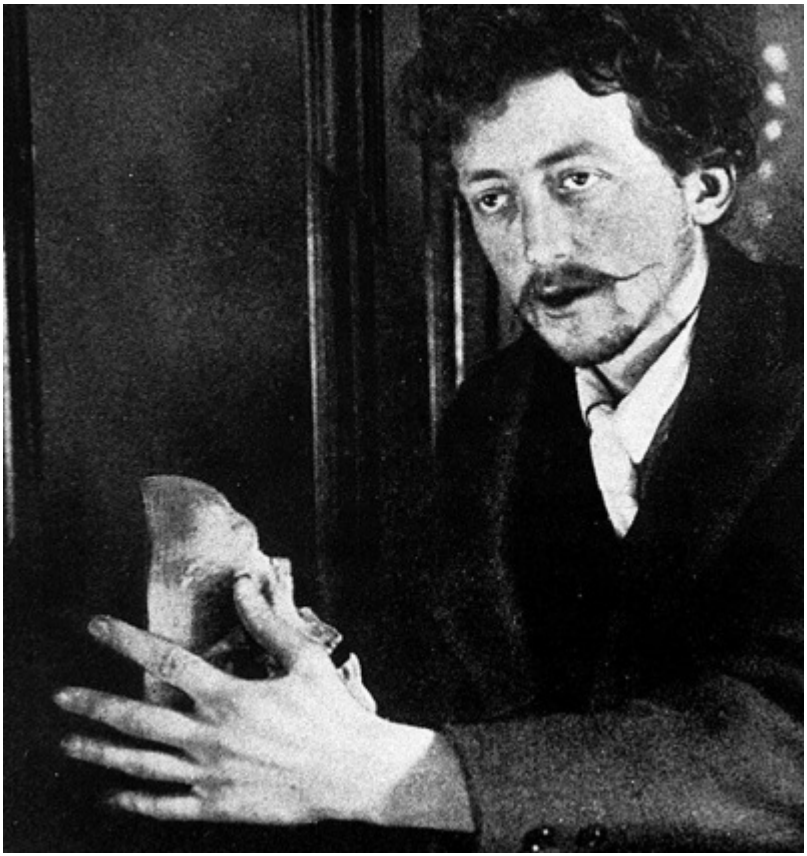
Кампанила Святого Марка до и после обрушения.

Vladimir
Nabokov
Suite
65

Мемориальная табличка на дверях набоковского номера в “Монтрё-Палас” и бронзовый Набоков перед отелем.

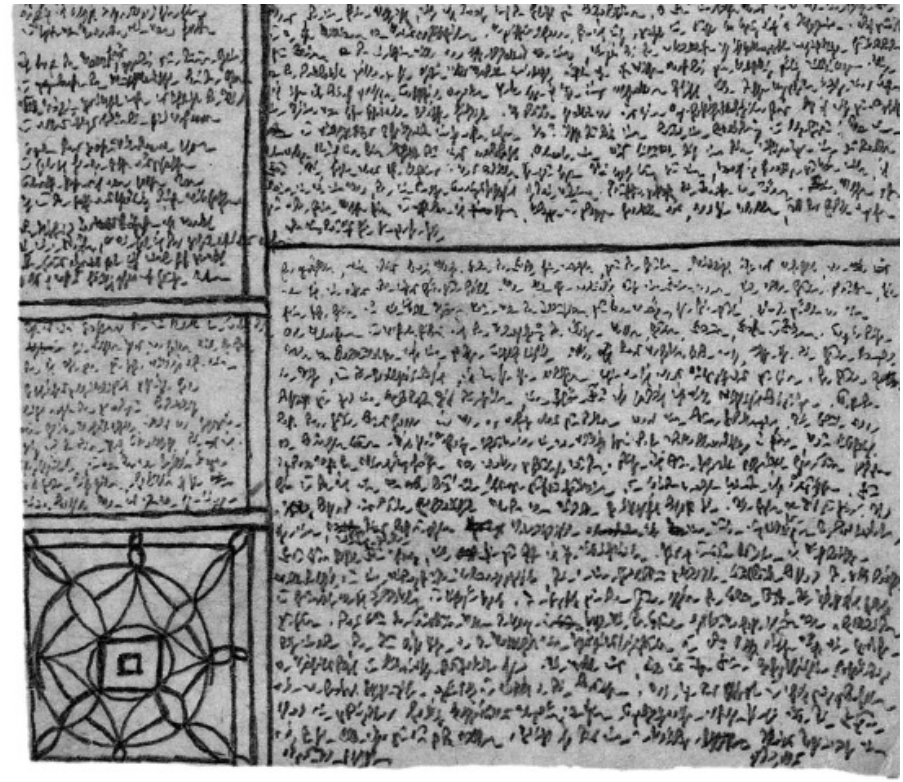


Владимир Набоков за работой.
© Ullstein Bild / Vostock Photo.



Вальзеры:
Лиза, Фанни, Оскар, Герман, Карл, Эрнст и Роберт.
© Robert Walser-Stiftung
Bern / Keystone.

Роберт Вальзер. 1907.
© Robert Walser-Stiftung Bern / Keystone.



Роберт Вальзер на прогулке в Херизау. 1942.

© Robert Walser-Stiftung Bern / Keystone.
Микрограмма Вальзера.

notes

Примечания

1

*Дело чести (*фр.*).

2

Это эссе было опубликовано с рассказом Роберта Вальзера “Прогулка” в переводе М. Шишкина в журнале “Иностранная литература” (2013. № 12).